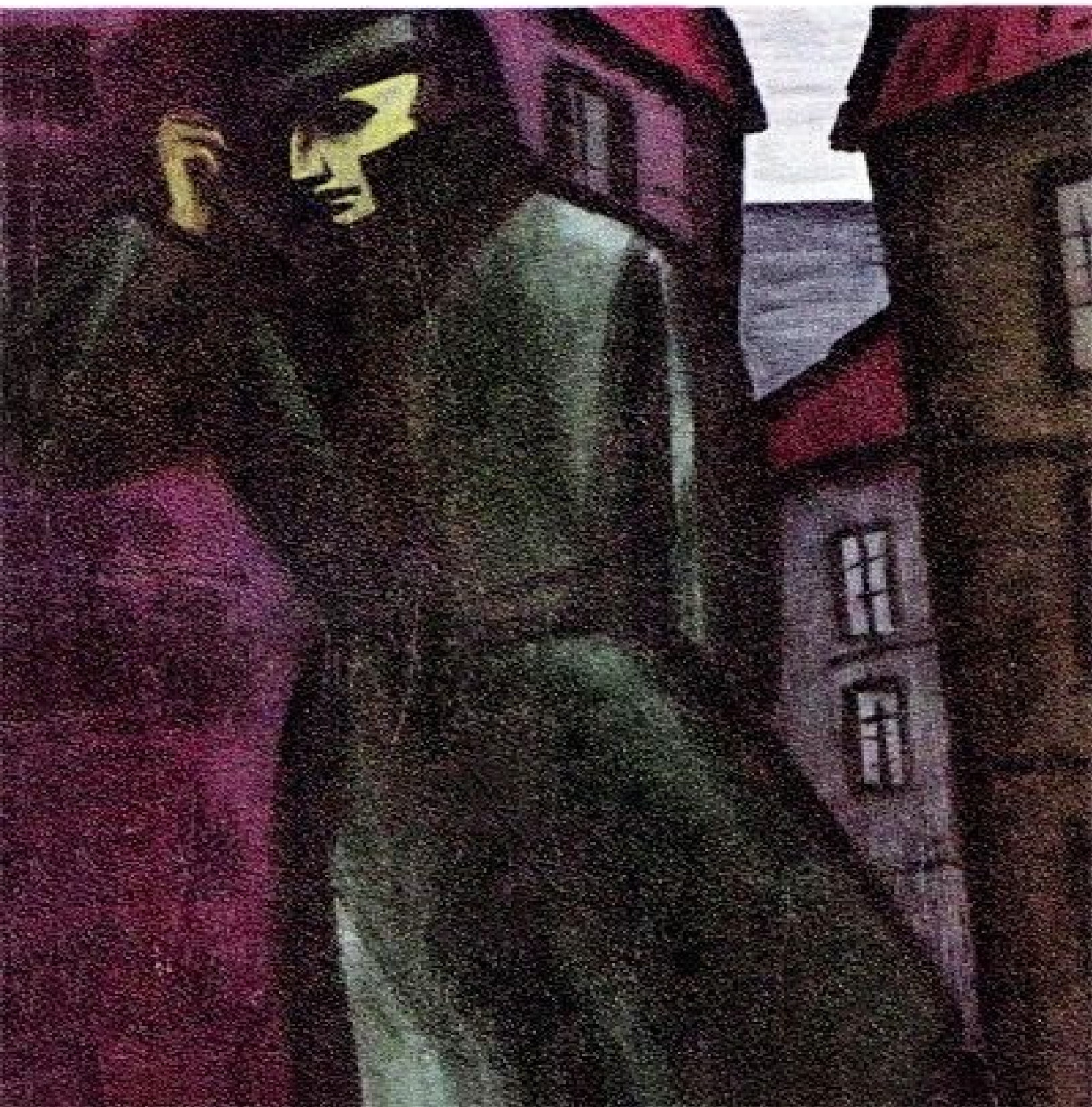


Анна Зегерс

ТРАНЗИТ  
РАССКАЗЫ



## Annotation

Натан и Мендес, торговцы ювелирными изделиями, стояли на набережной Капа, ожидая прибытия «Трианона». «Да вот он!» – раздалось в толпе портовых рабочих-негров. Оба старика так пристально всматривались в маленькую точку, будто хотели сорвать ее с горизонта. Нестерпимо яркая синь Карибского моря била в глаза стрелами света

---

- [Анна Зегерс](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Анна Зегерс**  
**Свадба на Гаити**

Натан и Мендес, торговцы ювелирными изделиями, стояли на набережной Капа, ожидая прибытия «Трианона». «Да вот он!» – раздалось в толпе портовых рабочих-негров. Оба старика так пристально всматривались в маленькую точку, будто хотели сорвать ее с горизонта. Нестерпимо яркая синь Карибского моря била в глаза стрелами света. Они расположились в тени между пакгаузами.

Несмотря на жару, старый Натан то и дело вставал посмотреть, не показались ли уже мачты «Трианона». Европа не торопилась расстаться с самым дорогим сокровищем, какое только было у них на земле: с Михаэлем, единственным сыном Натана и внуком его тестя Мендеса, а также и тем, что он вез, – коллекцией драгоценных камней, основой всего их состояния, которое в это беспокойное время здесь, на острове, будет в наибольшей безопасности.

Двенадцать лет назад мать, сестры и дед переселились к отцу на Гаити, тогда как Михаэль Натан остался в Париже обучаться ювелирному делу. Самый знатный клиент их фирмы, граф Эвремон, за два года до переезда семьи заказал Самуэлю Натану к своей свадьбе драгоценный убор для невесты. Ведь лишь благодаря ее приданому Эвремон становился одним из богатейших землевладельцев не только острова, но и всего французского королевства. Он поручил Натану доставить украшение в Кап и переделать его, если невеста того пожелает. По этому случаю Натан взял с собой кое-какой запас камней сверх того, что требовалось для заказа. Город был богат и жаден до покупок, он прямо-таки кишел приезжими дворянами-неудачниками, волею судеб заброшенными на этот отдаленный остров. Отпрыски знатных родов снова играли здесь первенствующую роль, которую они утратили во Франции, окончательно запутавшись в любовных интригах, денежных затруднениях и делах чести. Остатки старых состояний вкладывались главным образом в плантации, в эти необычные колониальные предприятия, которые на родине показались бы сомнительными, но здесь никого не удивляли. Детей своих они обычно воспитывали во Франции. Разбогатевав, отправлялись погостить на родину, где наравне с прочей знатью посещали придворные празднества, а затем возвращались обратно на Гаити, отдохнуть и подсчитать с управляющим доходы. С тех пор как помещики-плантаторы, выжимавшие из черных рабов все соки, поставили на широкую ногу разведение кофейных деревьев

и сахарного тростника, усадебная жизнь во французской части острова стала настолько приятно-утонченной, обставленной таким тщательно размеренным, продуманным до мелочей комфортом, какого, пожалуй, не встретишь в самом Париже. Жены и дочери плантаторов уже ничем не напоминали жен и дочерей первых французских поселенцев. Ведь некогда, чтобы помочь заселению колонии, Париж отправлял на этот отдаленный остров обитательниц Сальпетри, заключенных туда за воровство или проституцию. Теперь их преемницы качались в гамаках господских покоев. Их кожа оставалась удивительно белой под неистовым солнцем Гаити. Из сеток гамаков выглядывали пальчики ног и рук, локоны, розовые и желтые облака шелка. Парижские выкройки расходились здесь быстрее других отечественных изделий. Домашняя рабыня, подавая своей госпоже чашку какао или кофе, обмахивая ее веером или опахалом, боялась допустить малейшую оплошность. За самую ничтожную провинность отправляли на полевые работы, если не забивали до полусмерти. А рабыня удивлялась непостижимо белой коже своей госпожи. Едва верилось ей, что это белое существо способно рождать подобных себе ангелочков.

Под навес, где укрылись от солнца Натан и Мендес, вошла экономка графа Эвремона, Вероника. В свое время, когда она помогала наряжать к свадьбе свою семнадцатилетнюю госпожу, это была сильная, молодая женщина. Теперь же она преждевременно состарилась, лицо избородили морщины, точь-в-точь как складки на ее платке. Она склонилась в поклоне перед обоими мужчинами, потому что, как негритянка, была ниже их по положению. Но ее и без того суровое лицо осталось неподвижным, так как в этих двух торговцах-евреях она видела самых мелких из «белой мелкоты», занимавших по отношению к ее господину наиболее низкое положение. Едва поклонившись, она тут же выпрямилась; Ни возраст, ни жестокие побои, выпавшие на ее долю в юности, когда она была еще легкомысленной девушкой, не согнули ее спину. Она имела обыкновение говорить молодым невольницам, когда те роптали:

– Глупые вы девчонки! Посмотрите на меня! Знали бы вы, чего только я не натерпелась в доме Эвремонов! Помню как-то – это случилось лет пятнадцать назад – поскользнулась я при гостях с кофейным подносом. Меня вывели во двор, крепко-накрепко связали и били плеткой до крови, А что было, когда я вовремя не сменила увядшие цветы на клавикордах госпожи. Со мной уже было такое по забывчивости, и вот мне на голову надели венок из увядших цветов и привязали к столбу на самом солнцепеке. Когда вечером на мне разрезали веревки, я была чуть жива. Да, девушки, в то время я тоже из себя выходила, как вы теперь, по каждому

пустяку. Я кричала и проклинала, проклинала мою госпожу и всех других господ. А как-то прокляла даже их бога. Я, несчастная, спасителя нашего назвала «их богом». По счастью, никто этого не услышал, кроме отца Жюрье, доброго отца Жюрье, который гостил у графа и приводил в порядок его библиотеку. Он не погнушался прийти к нам в хижину, подошел ко мне, взял мою черную, загорелую руку в свою и ласково стал меня увещивать. Так не говорил со мной даже родной отец. И как только я могла сказать такое – «их бог»? Ведь за таких, как я, за меня он был замучен при Понтии Пилате, его бичевали и распяли на кресте. То, что случилось со мной, сказал священник, – это самое пустячное наказание за собственную мою вину. Как же сравнить это с муками, которые безвинно, по своей воле принял Он, чтобы спасти мою душу? Отец Жюрье не побоялся поговорить и с моей госпожой. Он и ее белую руку взял в свою, как отец берет руку дочери. Подумать только, девушки, в один и тот же день – сперва мою черную руку, а потом ее белую, словно обе мы его дочери. Он говорил с ней без страха, все равно как со мной: «Дочь моя! Не заставляйте эту неразумную снова расплачиваться за слова, смысл которых она не может понять. Предоставьте эту заботу святой Матери, предоставьте увещивание церкви нашей! За свою домашнюю провинность она вами наказана, а за те ужасные слова, что вырвались у нее во гневе, мы с нее спросим». Вот как тогда и позже отец Жюрье за нас заступался. Вы и теперь можете видеть этого старца, когда он сидит в тени монастырского сада за своими книгами и писаниями. Потом уж я стала спокойней. Я научилась стискивать зубы. Я научилась быстро и аккуратно исполнять домашнюю работу, так что моя госпожа никогда больше не выговаривала мне. Она уже не могла без меня обходиться. Теперь я экономка. Берите пример с меня. Не распускайте языки, помалкивайте, и тогда каждая из вас, если она разумна, может, так же как я, дослужиться до экономки или главной надсмотрщицы.

Через час, когда придет «Трианон», старая Вероника, наверное, скажет что-нибудь подобное той, кого она ждет. Ведь «Трианон» во время остановки на острове Мартиника должен был принять на борт в числе прочего товара маленькую домашнюю рабыню, на редкость для своего возраста способную в портновском искусстве. Троюродная сестра графини Эвремон согласилась наконец обменять ее на весьма ценную фамильную вещь – инкрустированные часы с курантами. Два совсем еще юных домашних раба, почти мальчики, уже принесли на набережную следом за Вероникой упакованные часы. Агент с Мартиники, ежегодно приезжавший на Гаити для денежного отчета по принадлежащему обоим семействам имуществу, обязался не выпустить из рук маленькую портниху, пока часы

не будут доставлены на борт.

Старому Натану больше не сиделось на месте. Он услышал звуки военного оркестра. Губернатор прислал своих гвардейцев для встречи «Трианона». Он знал, кто находится на борту в числе прочих пассажиров. Прибытие маркиза де ла Рок с полномочиями от самого короля было задумано как сюрприз. Однако торжественной встречей губернатор хотел показать, что его не так-то легко захватить врасплох. Под натянутым между пакгаузами парчовым навесом мелькали в тени всевозможные мундиры и шелковые фраки, украшенные орденами, в стороне под менее роскошными балдахинами стояли в ожидании группы людей. Это были менее знатные, но все же уважаемые островитяне – владельцы небольших плантаций и купцы. Еще дальше собрались те, кто искал самой обыкновенной тени, потому что о навесе для них никто не позаботился. Это были мулаты, обладатели бесспорных, хотя и сомнительных по происхождению богатств, пришедшие сюда из делового интереса или просто из чистого любопытства.

Натан стоял там, где ему полагалось, хотя от волнения и не подумал искать себе место под стать своему положению. Его не замечали, с ним не заговаривали, но и не избегали явно он не принадлежал ни к определенной группе белых, ни к мулатам. Но, если бы даже он не был весь захвачен радостью предстоящей встречи, он так же не придавал бы этому значения, как манговое дерево – тому, что растет между кокосовыми пальмами. Ни белый, ни мулат – и все тут. Когда пятнадцать лет назад граф Эвремон вызвал его к себе на остров, семью Натана охватило множество страхов и опасений, сомнений и забот. Родные возражали против его отъезда. Как можно ни с того ни с сего уехать от своих, от общины, в такую даль, да еще на остров, где и никакой общины-то нет? Как сможет он, Самуэль Натан, там жить? Какое ему дело до господ французов, преуспевающих на острове? Какое ему дело до негров? Что ему до этих мулатов? Да их при желании можно увидеть и в Париже. Его тесть, испанский еврей, под общие причитания заметил, что, пожалуй, можно будет завязать знакомства в той части острова, где управляют испанцы. Но испанская часть острова пришла в упадок и обеднела. Деловой смысл имела поездка только во французскую часть. Хитрый старик хорошо понимал, что его зять непременно захочет попытаться там счастья.

Оживление росло. Под пронзительные, почти отчаянные крики кучеров-негров подкатывали запоздавшие экипажи. Печальные, протяжные выкрики продавцов, расхваливающих свой товар, казались среди общего шума и звуков военной музыки заунывной монотонной песней. Все

устремилась к морю. В толпе приветственно махали руками, хотя «Трианон» только что вошел в бухту. Натан словно прирос к парапету набережной. Он был один, портовые сплетни его не интересовали. Полчаса, что еще оставались до того, как судно пришвартуется, казались ему невыносимо долгими. Последние минуты разлуки с единственным сыном! По нескольким силуэтам и двум гравюрам он не мог себе представить, каков Михаэль сейчас. Да, пожалуй, ему и не очень этого хотелось. Михаэль – его единственный сын, и он возвращается. Вот что было простым и ясным в этом хаотическом, непостижимом, бессмысленно-пестром мире. Последнее время Натан иногда думал о своем мальчике и о том, что тот должен привезти с собой: о драгоценных камнях – основе их фамильного состояния. Теперь он забыл о них. Он боялся только одного, как бы в последнюю минуту что-нибудь не помешало приезду сына. Поверх пестрых головных повязок и белых париков, мундиров и шелковых фраков, над плечами, прикрытыми кружевами и обнаженными, черными и смуглыми, уже поднялось на портовой мачте в знак салюта королевское знамя с лилиями. Оно неохотно распускалось на слабом ветру. А флаг «Трианона», казалось, уже завял и бессильно повис под горячими лучами солнца.

Неловкость от первой встречи, охватившая всех домочадцев, не прошла и после обеда. Мендес, самый старший, самый умный и самый хитрый из всей семьи, прищуренными глазами насмешливо-весело смотрел па внука. Для молодого человека его происхождения и сословия Михаэль Натан был, пожалуй, слишком тщательно одет и завит. Он мог бы показаться франтоватым, если бы больше следил за своей осанкой и манерами. Черты его некрасивого, задумчивого, порой даже безучастного лица казались еще более удлинненными оттого, что у него в двадцать лет вяло отвисла нижняя губа, точь-в-точь как у его отца в пятьдесят. Он и вообще, к сожалению, пошел больше в отца, чем в деда; Мендес напоминал скорее испанца, чем еврея. Если же Михаэль подбирал губу, он или жевал ее, или время от времени ронял замечание, тоже жеваное и ленивое, но иной раз поразительно меткое. Тогда уголки его рта напрягались, а сонные до того глаза вдруг вспыхивали. На лисьем лице Мендеса появлялись в таких случаях два различных выражения. «Чего еще нет – может прийти позднее», – казалось, думал он себе в утешение, а если замечание юноши приходилось ему особенно по вкусу, лицо его говорило: «Из молодых, да ранний!» Самуэль Натан единственный из семьи был счастлив вполне. Но все же он не помолодел от радости, как это часто бывает, и выглядел даже



старше, чем его тесть Мендес.

Изабелла и гордилась взрослым сыном, и робела перед ним. Его уже не зацелуешь, не прижмешь крепко-крепко к груди. Она надеялась, что он будет красивее, однако манеры у него хорошие. А жил бы он с ними, они бы отучили его и от этой привычки внезапно задумываться и смотреть в пространство невидящими глазами, будто он старик. Михаэль в глубине души был разочарован матерью, которая с годами в его воображении стала чудом красоты. При расставании она запомнилась ему необычайно прелестной и молодой. В его представлении юность матери не только не увяла, но расцвела еще больше. Ее звонкий смех звучал теперь несколько сдавленно, казалось, он шел не из горла, а из самой груди. Знакомые прядки волос уже не выбивались сами собой из ее прически, а были тщательно завиты на висках. Она все еще не хотела отказаться от прежней роли единственной, очаровательной дочери Мендеса, который отдал свое дитя без приданого и даже с великодушным жестом Натану, слывшему за богатого человека. Оба эти семейства эмигрировали, но с противоположных концов Европы. Родители Натана дали согласие на брак: хотя Мендесы и не правоверные евреи, но в конце концов все-таки евреи. Мендесы же согласились потому, что Натаны – богатые и уважаемые люди. Изабелла была тогда еще так молода и ребячлива, что целиком подчинилась старым обычаям, которых ее муж держался по вековой традиции, тогда как в семье ее родителей их соблюдали кое-как, да и то по большим праздникам, – поскольку Мендесы принадлежали к единой большой семье евреев, связанных общей судьбой.

Сестры сидели за столом против Михаэля. Мали была старше его, а Мирьям – намного моложе. Младшая выглядела совсем так, как он представлял себе мать, разве что красота ее была не столь строгой и совершенной. Мали, увы, целиком пошла в отца: ее лицо было настолько уродливо, что праздничное светлое платье казалось на ней почти смешным. Ее руки говорили о том, что ей доверены все заботы по домашнему хозяйству и кухне. Она была молчалива. Оттопырив нижнюю губу, обнажив некрасивые зубы, она смотрела на брата с неиссякаемой нежностью. За это она была тотчас же вознаграждена, сама этого не заметив. Михаэль полюбил ее. Его глаза все видели и все замечали... Мать рассказывала ему о фруктах, поданных на стол, объясняла, как поддевать серебряной вилкой плод мангового дерева, нежный, золотистый полумесяц: через крошечное отверстие на конце продолговатой косточки.

В передней слышались голоса: господ просят к графу Эвремону. Мендес уже давно рассказывал графу, что его внук должен возвратиться из

Парижа с коллекцией драгоценных камней. Сегодня у себя в имении граф устраивал большой прием в честь гостей, прибывших с кораблем. За Натанами, отцом и сыном, а также за Мендесом был послан экипаж с двумя неграми и одним белым, французом. Все трое тотчас поднялись из-за стола. Они быстро распаковали и отложили нужные камни. Теперь, при беглой перетасовке товара, старики убедились, что юноша целиком оправдывает их ожидания как коммерсант. Ему не нужно было ничего указывать. Он тотчас же сообразил, какие готовые украшения и камни без оправы они возьмут с собой и покажут у графа и какие лучше оставить дома. По тому, как он приводил в порядок свой туалет и прическу – мать и младшая сестра помогали ему в этом, – они заключили также, что подобные деловые визиты ему не в новинку.

И экипаж и кучер-негр имели неважный вид, соответствующий общественному положению трех торговцев. Белый лакей стал на запятки. Негры неслись впереди без поклажи, так как купцы не выпускали из рук свой драгоценный груз. Негры, бежавшие в гору, едва касаясь земли, словно черные ангелы, все время маячили перед глазами в мерцающем облаке пыли. Сверху, с пригорка, из господского дома, доносилась музыка. Сразу же по прибытии экипажа его тесным кольцом обступили негры. Торговцы держались вплотную друг к другу, прижимая к себе свои сверточки, не сдаваясь на попытки негров освободить их от всякой, даже самой незначительной ноши. Проведя купцов в дом, они занялись их обувью, шляпами, прическами и сюртуками, чтобы те могли явиться в достойном виде. Граф крикнул громко, чтобы их сразу же направили в столовую. Гости еще обедали в белом зале с низким потолком. Особенности климата были здесь приятно приспособлены к привычкам знатных господ. За стульями гостей стояли черные слуги, словно каждый привел с собой свою неусыпную тень. Поскольку Эвремон рассказывал анекдот, о чем его до этого долго просили, торговцев отвели в сторону, где уже был поставлен маленький столик, на котором они могли разложить свой товар.

Им пришлось ждать, пока не стихли шумные аплодисменты, которыми собрание наградило рассказчика. Затем господа один за другим стали подходить к столику и осматривать камни. Старый Натан удивился умению сына показать товар, разъяснить его достоинства. Михаэль, как видно, правильно угадывал возможности покупателя, его способность оценить товар и тут же смекал, где можно уступить, а где твердо стоять на своем. Один из гостей, господин Антуан, завистливо-печальными глазами рассматривал драгоценные вещицы. По-видимому, такие покупки были ему

не по карману. Говорили, что он обедневший дальний родственник Бреда, именем которого он управлял. Эвремон надел дочери давно заказанное в Париже украшение. Приятное, хотя и ничем особо не примечательное личико еще по-детски угловатой девушки вдруг просияло, как будто осветилось новым, более ярким светом. Она недовольно надула губки, когда отец, подмигнув Натанам, снял с нее убор. Он предназначался к ее свадьбе, как когда-то подобное же украшение – к свадьбе ее матери.

Болтовня и пиршество продолжались. Рабыни быстрее замахали опахалами. С наступлением ночи зажглись бесчисленные свечи.

– Ну вот, теперь ты сам видел, – сказал Натан-отец, когда они были уже дома, – мы ни в чем не уступаем вам, в Париже. Наши господа живут точно так же, как ваши. Их пиры ни в чем не уступают тем, что дают ваши господа в столице. Такие же роскошные туалеты, а то и еще роскошнее; такие же красивые женщины, а то и еще красивее.

– Но зачем они так шумно обсуждают за столом все, что творится у нас в Париже? – спросил Михаэль.

– Гости графа прибыли на том же корабле, что и ты, – ответил отец.

– Но ведь негры у них за спиной слышат все, что они рассказывают о крестьянских восстаниях на родине, о шумных сборищах на улицах, о налоговых совещаниях, о бездарности двора, о гневе народа. Рабы задумаются, а потом пойдут разговоры в бараках.

– Что за вздор, – сказал отец. – Задумываться – занятие для белых. Черные стоят за стульями, а спинки стульев не задумываются о разговорах за столом.

Старый Мендес насмешливо посмотрел на внука. «А, так вот откуда ветер дует, – подумал он. – В Париже, где к этому располагает прохладный климат, мальчик научился так много размышлять о всяких пустяках, что думает, будто и у нас такие же заботы».

В один из следующих дней экипаж господина Антуана остановился перед домом Натанов. Господин Антуан хотел, по крайней мере, еще раз посмотреть недоступные ему драгоценности. Его взгляд остановился на неоправленном бриллианте, который не был показан на вечере у графа. Натан и Мендес предложили ему внести пока задаток. Они сказали, что он может спокойно взять камень с собой; с остальным они подождут, камень будет у него в столь же надежных руках, как и в их собственных. Господин Антуан уехал в отличном настроении.

Незадолго до обеда его экипаж вернулся: у Натанов осталась

купленная Антуаном шелковая материя. Кучер-негр ожидал, пока найдут сверток. Михаэль заметил, что кучера заинтересовала книжка, которую он, Михаэль, тайно вывез из Парижа. Таможенные чиновники были слишком поглощены проверкой его драгоценного товара, чтобы рыться в багаже в поисках предосудительных или запрещенных сочинений. Он спросил кучера:

– Ты умеешь читать?

Кучер был не молодой, но и не старый мужчина среднего роста, с простодушным, несколько угрюмым выражением лица. Он ответил:

– Немного умею.

– Как ты научился?

– Отец Жюзые был так добр, что научил меня немного читать, когда я был моложе. Мой господин был так добр, что разрешил мне учиться. Мой господин необыкновенно добр.

Молодому Натану с первого же раза понравилось в господине Антуане его нескрываемое, почти детское желание – приобрести какой-нибудь драгоценный камень. Теперь выяснилось, что, кроме качеств, обнаружившихся при покупке бриллианта, он имел еще и другие, тоже неплохие.

– Если хочешь, – сказал Михаэль, – я буду рад помочь тебе иногда поупражняться в чтении.

При этих словах, которые выдавали совсем неопытного, чужого в здешних местах молодого человека, кучер улыбнулся.

– Благодарю вас, господин Натан, – учтиво ответил он. – Для этого я уже слишком стар. Все мое время сейчас целиком посвящено моему господину. Самое большее, что изредка разрешает мне мой господин, – это навестить в монастыре отца Жюзые.

Кучер взял сверток и ушел.

«Интересно, какие мысли могут быть в голове у такого негра?» – подумал Михаэль и даже высказал это вслух. Старый Мендес рассмеялся.

– Клянись тебе, мальчик, решительно никаких!

Вскоре выяснилось, что Михаэль вовсе не имел намерения оставаться на острове, как надеялись его родные. Старик утешил Самуэля Натана, уверяя, что Михаэль не сможет уехать, если даже сам того захочет. Одно слово графу Эвремону – и губернатор запретит ему выезд. А уехать каким-либо образом без разрешения – на такую глупость юноша все же не способен. Мать не отставала от него с вопросами:

«Чего тебе не хватает? Чем тебе не нравится дома?»

Теперь и без того было не так-то просто уехать во Францию. Национальное собрание не только не успокоило волнений, но и само запуталось в противоречиях. Властям было на руку, когда кто-либо уезжал из беспокойных, перенаселенных городов.

– Мне нравится у вас, – тихо отвечал Михаэль. – Мне всего хватает.

Но ему не хватало очень многого, если не всего. Ему здесь совсем не нравилось. Старый Мендес слишком себе на уме и чересчур насмешлив, чтобы можно было раскрыть перед ним душу. Отец слишком прост, мать слишком глупа, младшая сестра чересчур ребячлива. Остается только старшая сестра, Мали, однако она так молчалива, что никто не знает, о чем она думает, да и думает ли она вообще. Ее красноречивый, то печальный, то укоризненный, взгляд неотступно следовал за братом.

Отец и дед отправились в Кап покупать золото. Младшая сестра с матерью ходили по лавкам в поисках новых нарядов. Это была их любимая ежедневная прогулка, когда спадала жара. Старшая сестра, как всегда, хлопотала на кухне. Подойдя к ней сзади, Михаэль сказал:

– В Париже мне казалось, что здесь все по-другому.

Она повернулась к нему. Ее некрасивое, желтое лицо стало от напряжения еще более желтым и некрасивым. Она будто силилась представить себе то, другое, что имел в виду брат. Глаза ее стали еще прекраснее, они словно заранее говорили обо всем, что подсказывало ей воображение. И, соглашаясь и спрашивая, она сказала:

– Да?

– С той минуты, как я узнал в Париже, что скоро поеду к вам, я то и дело старался вообразить себе вашу жизнь здесь, на острове. Разве можно, собираясь куда-нибудь, не попытаться представить себе сначала, как живут там люди? Ведь можно же представить себе даже такие места, куда заведомо никогда не поедешь. Конечно, нашу мать, например, беспокоило бы прежде всего то, как ей самой будет житься там.

Глаза сестры лучились необыкновенной красотой. Даже ее длинный нос, который она унаследовала от отца, исчез в этом сиянье, неопределенном и всепроникающем, как небесный или внутренний свет. Она больше не хмурилась в раздумье и не поджимала уголки рта. Она просто слушала. Почувствовав, как внимательно она прислушивается к его словам, брат неожиданно для самого себя стал разговорчив.

– Мой двоюродный брат Леон – он твой ровесник – и другие двоюродные братья и их друзья думают примерно так же, как мать... Они представляют себе, как бы им жилось и как бы пошли у них дела, если бы они всюду и везде оставались самими собой. Я же всегда ставлю себя на

место кого-то другого.

Сейчас, например, их занимает мысль, что скоро в Национальном собрании пройдет закон о правах купцов-евреев. Я же, едва узнав, что мне предстоит путешествие, попробовал представить себе, как у вас все выглядит тут на острове. Я попытался вообразить себе, что такое негр. «Уж с неграми-то тебе наверняка не придется иметь дела, – сказал мне Леон, – вот разве что с мулатами. Иные из них, говорят, прикопили-таки деньжонок». Ну ладно, тогда я попытался представить себе, что же такое мулат... Это началось, лет двести, триста тому назад, когда первые испанские поселенцы привозили себе рабов из Африки, потому что индейцы погибали от принудительного труда. Случалось, что негритянка спала с белым господином. Потом этот господин обращался с сыном негритянки лучше, чем с чистокровными негритами, которые так и оставались невольниками. Такой наполовину белый ребенок иной раз выглядел почти как белый, иной раз почти как негр. Это уж как бог даст. Случалось, господин заботился о том, чтобы дать ему в жены такую же наполовину белую женщину. Если же рождался не сын, а красавица дочь, то ей в мужья могли дать даже белого слугу или кого-нибудь в этом роде. И когда у них появлялись дети, они были уже ни черными, ни белыми. Словом, мулаты. О чем они думают? «А тебе что до этого? – сказал мне отец. – У тебя и без того достаточно забот. Что путного выйдет из человека, если он постоянно переезжает из одной страны в другую и ломает голову над каждым пустяком?» Может, отец и прав, Мали. Он добрый человек и во всем остается добрым, это так. Но, где бы он ни был, ему важно одно – чтобы дело его и семья процветали.

Ночь наступила мгновенно, как обычно в тропиках. Солнце в последний раз бросило мимоходом палящий луч на кружевные подушки, заглянуло в укромнейшие уголки софы, осветило ручки фарфоровых чашек, хранимых госпожой Натан в стеклянном шкафу. Стекла шкафа вдруг запылали неподобающе яркими красками. И вот почти без сумерек солнце скрылось за линией горизонта. Мали не шевелилась. А Михаэль все говорил и говорил, скорее чувствуя на себе глаза сестры, чем видя их.

– Все это занимало меня в Париже, – продолжал он, – словно я уже жил на Гаити и даже родился здесь. Я стал завсегдатаем в кафе, где обычно собираются мулаты. Это были занятные люди, они умели думать, умели поговорить. Я посещал и «Общество друзей черного народа». Ты, может быть, уже читала в газетах о Лафайете, а может быть, и о Робеспьере. Он адвокат. Он требует гражданских прав даже для черных. Он еще и сам их не имеет, а добивается для всех: для евреев, индейцев, негров, мулатов. «В

Париже все сошли с ума, – сказал мне Леон, – но твои сумасшедшие, Михаэль, превзошли всех».

Ты понимаешь, Мали? Теперь, когда так много говорят о гражданских правах, каждая группа добивается их для себя, но, боже сохрани, не для всех. Каждый заранее хочет, чтобы эти права были какими-то особенными, поскольку их получит он. Ты понимаешь?

Мали сперва понимала кое-что из слов брата, а потом и вовсе перестала размышлять над ними и только слушала в темной комнате его приглушенный голос, осипший от волнения. Она вбирала в себя это волнение. Ее глаза лучились красотой, которую уже никто не мог увидеть, потому что в комнате было темно. За окном сияло ночное небо. Сквозь натянутую между рамами сетку от мух мерцали звезды и одиноко среди других созвездий сверкал Южный Крест – примета этого неба.

– В Париже ты найдешь Эвремонов в клубе «Массиак»: его посещают богатые землевладельцы из колоний, аристократы. Они-то и интересуют нашего Леона. Там часто бывают люди, которые, по его мнению, могли бы стать нашими клиентами здесь, на острове. «Ты должен искать связи, Михаэль! – передразнил он брата. – Эти люди могут достать тебе нужные бумаги. Ты должен научиться разговаривать с ними».

– Этому ты хорошо научился, – заговорила Мали впервые за весь вечер. – Дед говорит, что ты умеешь с ними обходиться.

– Ну, это особая статья. Надо уметь обходиться с людьми, среди которых приходится жить, – ответил Михаэль.

Мали зажгла все свечи в серебряном канделябре. За сетками на окнах слышалось густое гудение. На свету Мали с ее прищуренными глазами какое-то мгновение казалась особенно некрасивой. Но брат не обратил на это ни малейшего внимания. Он задумчиво смотрел перед собой. Подняв голову, он встретился глазами с ее преданным взглядом.

– Я ехал сюда с особенным волнением. Сердце мое было переполнено, – заговорил он вслух о том, что думал. – Голова была полна всем, что я слышал и читал. Но уже в первый вечер, когда нас позвали к Эвремонам, я был поражен и разочарован. Мне показалось, что в Париже я узнал о неграх больше, чем смогу узнать здесь, живя среди них. Мне показалось, что негритянский вопрос играет более важную роль в «Обществе друзей черного народа», чем здесь, в тропиках. К неграм здесь совершенно равнодушны. Говоря «вы», я имею в виду не только аристократов, не только семейство Эвремонов, но также нашего отца, деда – словом, всех белых, будь то еврей или христианин, француз или испанец, американец или европеец.

А ведь негры, стоя за стулом позади гостей, наливая им вино и обмахивая их опахалом, слышат все, что говорится за столом. Гости, которые были на вечере, приехали вместе со мной. Они рассказывали о том, что творится в Париже, о волнениях на улицах и во всей стране, об угрозах со стороны крепостных да еще смеялись над всем этим.

Голос Михаэль стал громче, на мгновение он взглянул на сестру. Если он ожидал от нее ответного слова, то ему пришлось разочароваться. Мали только с нежностью смотрела на него. Слыша едва заметное возмущение в его голосе, она еще больше уверилась в том, что ее брат, единственный, безмерно любимый брат, один на один с ней в комнате, доверяет ей и говорит с ней. Она не шевелилась, как будто каждым своим движением могла помешать ему.

– Ведь у негров есть уши. Конечно, они были немые. Да они б и не посмели выдать чем-нибудь свой интерес к тому, что говорилось! Однако ночью они наверняка обсудили все, что слышали. Дед смеется и говорит, что это не так. А я говорю: именно так! Я не смеюсь. Для графа Эвремона я только сын знакомого торговца, да и того меньше; вряд ли он помнит, что мы родственники. А негры не перестают думать о своем, когда подают на стол, так же как и я при заключении сделки.

Слышно было, как открылась входная дверь, а затем донесся смех, чьи-то шаги. Это вернулись домой мать и младшая сестра, две птички-длинношейки, счастливо взъерошенные после прогулки, доставившей им такое удовольствие. Их кринолины, белый и лиловый, сразу же заполнили собой всю комнату. Вместе с ними появилось множество маленьких свертков, шалей, вееров, а также какой-то новый сладкий запах, заставивший улыбнуться даже Михаэля. Мали обеими руками прикрывала свечи, которые угрожал потушить внезапно подувший веселый ветер. Ни одно мгновение в полумраке комнаты мать показалась Михаэлю такой же прекрасной, какой она оставалась в его памяти все эти годы: с тенью от длинных ресниц на матово-бледном лице и золотыми блестками в ушах. Младшая сестра все еще хихикала. Причиной тому была встреча с незнакомцем и цветок, который она прятала под косынку на своей юной груди.

Молитвенные свитки, которые Натан, согласно закону предков, прикрепил, как в Париже, на всех дверных косяках, когда обосновался в этом доме, не помешали тому, чтобы его жилище во всем походило на жилища прочих европейских колонистов на Гаити, хотя дома его братьев считались второразрядными или даже третьеразрядными и вынуждены были ютиться на городской окраине. Те же облака кружев, то же хихиканье,



тот же сладкий запах. Михаэль никогда не чувствовал еще так сильно, что не вырваться ему из дома, где он родился. Он, как никогда раньше, почувствовал себя втянутым в круг житейских мелочей, домашнего уклада, торговых дел и родственников. Это была сеть, в которой он бился среди всех этих сережек, кринолинов, косынок и свечей.

Мали вышла из комнаты, чтобы закончить приготовление ужина.

## II

Теперь, когда и в Капе стало беспокойно, старый Мендес охотно переселился бы в испанскую часть острова, если бы не запрет евреям въезжать туда. Эвремона, несмотря на это, вероятно, помогли бы ему уехать, но они были слишком заняты собственными делами.

В Париже мулаты делали все возможное для того, чтобы провести в Национальном собрании декрет о предоставлении им равных прав с белыми плантаторами. Они смогли бы сравняться с белыми по своему имущественному положению, если бы добились отмены стесняющих их законов. Имена некоторых из них были хорошо известны в купеческих кругах. Они, так же как белые, торговали кофе и сахаром. Они имели рабов. Они держались в стороне от «Общества друзей черного народа». Они придавали большое значение равенству с белыми при сохранении известной дистанции между собою и черными. Был, правда, молодой мулат Оже, владевший на Гаити землей и рабами и тем не менее требовавший свободы для негров. Это казалось мулатам неумным и излишним. Они бы только поставили под удар собственные требования, смешавшись с теми, от кого хотели всячески отмежеваться. Планы Оже и в самом деле кончились весьма печально. Когда французский губернатор отказал ему в выезде на родину, он все-таки отправился в путь, в чужом мундире и с чужими бумагами. Он был настолько безрассуден, что после приезда на Гаити вооружил своих людей, и не только мулатов, но и черных рабов, произошли стычки с солдатами губернатора, дело дошло до волнений и даже до кровопролития.

В эти-то дни Натан с Мендесом и решили перевезти семью в безопасное место. Каждый раз, когда Эвремон вызывал всех троих к себе в имение, чтобы обсудить с ними все, что касалось ускоренной доставки, надежного хранения и пересылки драгоценностей, оказывалось, что в его столовой велись все те же оживленные разговоры за все тем же накрытым столом. Торговцы ожидали окончания ужина в стороне на своем обычном месте. Хозяин дома и гости обращали на них столь же мало внимания, как и на негров, стоявших позади за спинками стульев. Дома Мендес, Натан и Михаэль рассказывали о том, что им удалось услышать у Эвремонов. Эвремона носились с мыслью наладить связь с английскими друзьями, если почва под ногами слишком накалится. Но помощь англичан они предусматривали только на всякий случай, пока же считали, что им нечего

особенно бояться. Они полагали, что, поддерживая эти связи, они в любой момент найдут защиту под английским флагом и смогут выехать на корабле в Лондон, даже через Ямайку. Вот тут и произошел первый спор в семье Натанов. Самуэль Натан и Мендес придерживались мнения, что нужно просить о защите Эвремонов, чтобы иметь возможность присоединиться к ним. Михаэль же неожиданно заявил, что, если ему действительно придется покинуть остров, он поедет только в Париж. А если это невозможно, останется здесь, в Капе. Отец пришел в ужас. На что же, господи боже, он надеется, оставаясь, на острове? Мендес насмешливо посмотрел на Михаэля.

С молодым мулатом Оже произошло именно то, чего и боялись его друзья. Его вооруженные отряды вскоре были уничтожены. Сам он был пойман и повешен. Таким образом, Оже не только не ускорил проведение декрета о правах мулатов, но даже помешал ему. На неприязнь мулатов к неграм негры отвечали тем же. Они даже с большей охотой работали у белых аристократов, так как те настолько свыклись со своим положением естественных и законных властителей, что уже не подчеркивали свои привилегии произволом и жестокостью в отличие от недавно разбогатевших мулатов. Белые аристократы в полной мере овладели искусством управления миром, который вот уже более тысячи лет держали в своих руках. Скоро выяснилось, как хорошо они все рассчитали. Ведь в Париже тоже медлили с насильственным введением на Гаити выношенных свобод, опасаясь, как бы этот доходнейший остров не перешел к англичанам.

Поселенцы и городские жители лежали по ночам без сна, в холодном поту, прислушиваясь к пронзительной дробь негритянских тамтамов, доносящейся из самых отдаленных горных ущелий. Они не знали, что она означала. Было ли то послание ко всем черным братьям на острове или моление к языческим богам? Эта дробь заставляла трепетать в невыносимом напряжении душу каждого человека. Некоторые рабы, бросив хижины и работу, потянулись в лес на зов тамтамов. Были такие семьи белых поселенцев, которые на всякий случай переехали в город.

Неопределенный, холодный страх становился горячим, осязаемым. Сперва с далекой маленькой фермы пришла весть о том, что рабы внезапно снялись с места и с женами, детьми и узлами двинулись в путь по направлению к горам. На ближайшей же ферме их отряд увеличился. Везде, где они проходили, к ним с радостными возгласами и песнями присоединялись толпы негров, как будто свобода – это место в горах, которого можно достичь за два дня и две ночи, если идти напрямиком.

Когда они проходили мимо четвертого или пятого поместья, им попался в руки человек, чья дурная слава распространилась далеко за пределами подвластных ему земель. Его господин почти все время жил во Франции, сам он служили управляющим в имении. Это был один из тех слуг, которые ради своих господ идут на немыслимые жестокости по отношению к рабам не только затем, чтобы кое-чем поживиться, но и из честолюбивого стремления получить с хозяйства больше доходов, чем другие управляющие. Он слишком презирал рабов, чтобы считать их способными на восстание. Когда ему сообщили о приближении негров, он взобрался на дерево, где давно уже устроил себе что-то вроде сторожевого поста. Оттуда он наблюдал, как надвигается все ближе и ближе облако пыли, как оно кричит и поет, растягивается в длину, распадается на части и снова собирается в ком. Между тем сбежались и его собственные люди. Его обнаружили на дереве. Его стрясли вниз, как кокосовый орех. И расщелкали. Один негр впился в него зубами и, казалось, высасывал из него соки. Неделью назад этот негр видел, как двух его дочерей, связанных вместе, гоняла по двору собачья свора.

Дом управляющего запылал еще прежде, чем шествие негров достигло имения. Поход к свободе не был больше радостно-светлым – за ним тянулся красный след. Через несколько дней поля и имения были сожжены. Вместо того чтобы под бичами надсмотрщиков, в заданном ритме по-прежнему срезать сахарный тростник, его яростно рубили мачете, большим ножом, и он, извиваясь, исчезал в пламени. По ночам город был ярко освещен дождем искр, разлетающихся от горящей соломы и тростника. Ветер гнал рой искр над крышами. Город начинал гореть с разных концов. Носильщики, рабочие, домашние рабы, все негры, жившие тут, трепетали перед белыми, а белые, в свою очередь, трепетали перед неграми. Но здесь, в городе, охваченном кольцом горящих ферм, в руках у белых были клать и оружие. Малейшего признака неповиновения или показавшегося подозрительным крика было достаточно, чтобы отправить негра на виселицу. Знамя с лилиями все еще как ни в чем не бывало развевалось над виселицами, над белыми господами в мундирах и при оружии, разъезжавшими в колясках под дождем искр.

Господин Антуан рассказал, что один из его лучших рабов, Пьер Симон, который на протяжении многих лет честно служил у него в кучерах, внезапно бежал в горы. Перед этим он еще отвез госпожу Антуан с детьми в город, где безопаснее. Во время этой поездки он ни словом не обмолвился о своих планах, он молчал, как всегда, и Антуан полагал, что это, быть может, и к лучшему, что его кучера, исполнительного, спокойного

человека, нет в городе. Он, Антуан, не мог бы защитить его даже от собственных друзей, вымещавших свою ярость на каждом негре, который подвертывался им под руку.

Какое-то время все оставалось по-старому, или, вернее, каждый делал вид, будто все и на этот раз может остаться по-старому. Правда, по сообщениям газет и рассказам матросов было известно, что в Париже короля посадили в тюрьму и голова его непрочно держится на плечах. Правда, помещики знали, что в лесах скрывается множество беглых рабов, но они все же, как и раньше, пользовались услугами негров на званых обедах. Они продолжали жить в городе своей обычной жизнью. С помощью оставшихся рабов они даже начали кое-где заново возделывать поля в своих поместьях. Они верили, что жизнь и дальше потечет сама собой, надо лишь блюсти старые законы и не обращать внимания на то, что в других местах они уже упразднены.

Наступил сезон дождей; однажды около четырех часов дня небо наконец разверзлось. Вода разом хлынула на высохшую землю. Нежным растениям в садах так и не пришлось вдохнуть свежего воздуха: они тотчас оказались под водой. Хижины на окраине города были вмиг смыты. Несколько прохожих еще шлепали босыми ногами по опустевшим улицам. Захваченные ливнем ездоки прятались в каретах. Лошади фыркали, не понимая, бичевал ли их бешеный дождь или то были отчаянно-веселые удары кнута. Печать веселого отчаяния лежала на всем, потому что дождь наконец-то напоил высохшие плантации, хотя и свирепо, нечеловечески свирепо. В домах, где стало вдруг темно после того, как ливень разразился, свечи горели уже с полудня. Проклятия носильщиков, попрятавшихся от дождя под навесами – кто еще сухой, кто уже промокший до нитки, – перемежались с хихиканьем девушек, успевших вовремя протиснуться в двери домов в своих широких, кринолинах; намочивший тюль на проволочных каркасах сделал их неуклюжими и тяжелыми, как колокола.

Михаэль, запыхавшись, пришел домой. У самых дверей он услышал смех младшей сестры, как всегда отталкивающий и влекущий. Он уже хотел войти, как вдруг маленькая негритянка довольно бесцеремонно пролезла в дверь под его рукой. Запах ее молодого, здорового тела был настолько ощутим во влажном воздухе, что даже Михаэль, обычно избегавший таких соблазнов, не мог его не почувствовать. В последние недели она уже три раза проскальзывала мимо него, делая рукой легкое движение, которое, очевидно, означало готовность к любви. Сперва он не обратил на это никакого внимания и даже не мог припомнить, когда и где это было. Вторую встречу с ней он смутно помнил, а третью – более

определенно. Теперь, когда он увидел ее небольшие груди под мокрым ситцевым платьем, ему стало окончательно ясно, что он видел именно ее. Девушка была изумительно красива. При взгляде на нее становилась помятой лютой ревностью белых женщин, жестокость, с которой они еще изощреннее, чем мужчины, вымещали свой гнев на черных рабынях, истязая их за малейший промах. Михаэль на мгновение проклял себя за то, что даже сейчас, глядя на ее длинные ноги и узкие бедра, на выпуклость живота под скользкой юбкой и маленькие груди, он не мог не размышлять при этом о судьбах человечества. Двумя пальцами она робко схватила его за обшлаг рукава, и эта робость, насколько он уже знал остров, этот маленький уголок мира, не могла быть робостью любви. Иначе как объяснить мрачный взгляд ее широко раскрытых, почти неподвижных, черных, как угли, глаз? Он так и не вошел в дом. Он все еще слышал за дверью звенящий, как жесть, смех сестры. Из луж, по которым прыгала перед ним маленькая негритянка, в лицо брызгала вода. Его шляпа, парик и сюртук промокли насквозь. Но он не чувствовал ни голода, ни дождя, ему было слишком жарко. Он бежал и пей по каким-то глухим переулкам, в которых только кое-где сквозь завесу дождя светились огоньки. Негритянка иногда оглядывалась, следует ли он за нею. И снова то же зовущее движение руки, и снова тот же почти угрожающий взгляд черных глаз, которые вращались быстрее, чем голова. Как это бывает с влюбленными, которым всегда чудится, что они встретились не впервые, а уже видели где-то друг друга раньше, Михаэль спрашивал себя: где же я мог ее видеть? И тогда ему вспомнилось, или он думал, что вспомнилось: на «Трианоне», когда тот подходил к Капу. Ее посадили на «Трианон» на Мартинике и ветренный на Гаити. Он не мог знать, что Эвремоны обменяли ее на семейную реликвию – часы с курантами, потому что она была искусна в шитье. Экономка Эвремона тут же забрала Мали. Позже, когда он бывал в имении Эвремонов, она иногда, затерявшись в толпе слуг во дворе, ловила его взгляд.

Девушка раз или два останавливалась, подвертывала мокрое платье до колен, выжимала и опять опускала. Тогда Михаэль тоже останавливался, смотрел, как она отжимает платье, и снова шел за ней. Брызги дождя, отскакивавшие от земли на высоту человеческого роста, секли его по сапогам. Дождь метался вокруг ее босых ног, словно вокруг двух птиц. Наконец они оказались в каком-то переулке, в убогом квартале, где жила только «белая мелкота» и много мулатов. Она скользнула в дверь какого-то кабачка, он вошел вслед за ней, она сейчас же выскочила через вторую дверь во двор, а когда он вышел во двор, выбежала через ворота к

расположенному позади дому. Стемнело уже настолько, что, когда она оглядывалась, чтобы убедиться, не отстал ли он от нее, Михаэль видел только белки ее глаз, а как-то раз и зубы, блеснувшие в беззвучном смехе. Следующий переулочек был так же безлюден, так же размок от дождя. Она бежала все дальше, перескакивая через лужи. Здесь уже не было видно даже крошечных огоньков в окнах домов. Вокруг тянулись только складские постройки и сараи. Запахло морем. Она встала под навесом крыши и, подобно листу, распласталась по стене. Под бушующим ливнем, не оставившим им ни одного сухого местечка, ему пришлось последовать ее примеру и стать рядом. Она шевелила губами, но в шуме дождя Михаэль не мог разобрать слов. Была ли она все еще в услужении у Эвремонов? Ведь они уже давно из соображений безопасности не жили в своем загородном поместье. Убежала ли она тайком? Неужели это ради него она решила пренебречь побоями из-за тех причин, которые с непостижимой силой влекут человека к другому, и только к нему? Юношей, в Париже, он иногда задумывался над тем, что, пожалуй, он вовсе не обладает такой силой. Теперь, когда эта сила явно проявилась в нем, он принял ее почти как нечто само собой разумеющееся, как дар неба. Они вышли на открытое место перед набережной, где пальмы безучастно, как всегда, стояли под дождем. Море решетили нити дождя, словно устремляясь в какую-то еще более бездонную глубину. Море и небо были свинцового цвета, тусклые и неразличимые. Михаэль готов был последовать за девушкой, даже если бы она побежала по морю. Но она свернула в одну из портовых улочек. Он услышал голоса, шум и звон стаканов.

Затем повторилось то, что уже было раньше: она пробежала через сени кабачка, он еще раз увидел сверкающие белки ее глаз. Когда она толчком открывала дверь, ее мокрые волосы коснулись его лица. Он последовал за ней в надежде, что наконец-то он у цели – все равно какой. Они очутились под колоннадой в каком-то маленьком дворике. Тут был фонтанчик, струи которого до смешного бесцельно плескались под дождем. Цветы были смяты – несколько мокрых пятен, красных и желтых. Между колоннами – сухо. Михаэль посмотрел направо и налево. Девушка исчезла. Босой, оборванный, насквозь промокший негр вдруг вырос перед ним и устало, в безрадостной улыбке, обнажил зубы. Прежде чем заговорить, он тяжело перевел дух. Михаэль в гневе подумал, что стал жертвой чьей-то глупой шутки. Он проклинал себя за то, что не имеет при себе оружия. Негр тихо и почти учтиво предложил господину Михаэлю Натану последовать за ним. Его господин желает этой же ночью поговорить с ним. «Кто он?» – спросил Михаэль. Туссен Лувертюр, сказал негр, послал его, будучи уверенным, что

господин Натан не откажется исполнить его настоятельное желание. Господин Натан должен помочь ему в составлении важного письма.

Михаэль изумленно слушал его. Он так удивился, что даже забыл о своем разочаровании.

– О каком письме идет речь?

– Мой господин не расстанется с этим письмом. Я расскажу вам все по дороге, – ответил негр и добавил с таким видом, будто в его словах содержалось нечто невероятно успокоительное: – Если нас схватят, нас не только убьют, но и будут пытаться, чтобы узнать тайну этого письма. Я доставлю вас прямо к Туссену, а завтра рано утром, до того как город проснется, вы вернетесь домой.

– Пошли! – сказал Михаэль.

Он чувствовал радость духовной авантюры, которая сулила беспредельные горизонты и была куда заманчивее, чем молодое существо, о котором он уже больше и не думал.

– Дождь защитит нас от слезки, – обнадежил его негр. – Вся дорога затоплена. Сначала нам придется идти по грязи.

Хотя их путь в горы занял несколько часов, негр кончил рассказывать, когда они были почти у цели. Он часто прерывал свой рассказ, когда они обходили сторожевой пост и шли по затопленным, одичавшим полям. Едва лишь сбежали помещики и сгорели их дома, как девственный лес, словно он только того и ждал, спустился с гор со всеми своими корнями и лианами, чтобы завладеть тем, что осталось без присмотра. Из рассказа негра Михаэль составил себе более или менее полное представление о том, что он частично знал и раньше.

Парижский конвент послал на Гаити комиссаров с солдатами. На корабле предстоящая задача казалась им куда более легкой, чем потом, после высадки. Хотя Национальное собрание уже давно вынесло решение об освобождении негров-рабов, однако это решение все еще не приобрело силы закона. Во Франции прогнали помещиков, крепостное право было уничтожено, но рабы в колониях по-прежнему оставались рабами. Землевладельцы на Гаити решительно отказывались сменить королевское знамя с лилиями на трехцветное знамя Республики. Их кофе, их сахар, их индиго – их наследственное достояние, но ведь это также гордость и богатство Франции. Обрабатывать плантации без рабов, говорили они, немислимо! Аристократам Гаити, не в пример их парижским собратьям, не надо было бежать в Лондон. Им стоило только вызвать из портов соседнего острова английские военные корабли.



Комиссары и их солдаты возлагали надежды на помощь бедняков, неимущих белых, или «белой мелкоты», как их называли на Гаити. Но все местные белые были на стороне землевладельцев. Да и к кому определяться на службу, если, кроме помещиков, здесь нет никого, кто в состоянии тебе платить. Здесь не станешь даже парикмахером или писцом без поручительства знатного лица. Здесь, в колонии, голод был еще горше, чем дома, во Франции. Здесь пропадешь! Пропадешь, как собака! Без крыши над головой. Тебе представлялся выбор: погибнуть ли от малярии, или от тифа, или от змеиного укуса.

Тогда комиссары обратились к мулатам. Еще по пути сюда они думали, что те их встретят с распростертыми объятиями. Ведь они прежде всего проведут закон об уравнивании их в правах с белыми, против которого так злобствовали аристократы. Однако восторг мулатов тут же остыл, когда они узнали, сколько свобод сразу предоставлено Парижем. Отмена рабства? Какой им прок в равноправии, если отберут рабов, которых они уже давно сами держат?

Комиссары и их солдаты попали в тяжелое положение. Владельцы плантаций пили и играли в кости с английскими офицерами. Мулаты и «белая мелкота» пали духом и были запуганы. Оставалась лишь одна часть островитян, готовых водрузить на Гаити трехцветное знамя. Это были негры, рассеянные по девственным лесам, одичавшие и необузданные, но хорошо понимавшие, что такое свобода.

Однако даже этот путь, возможно, был уже закрыт. Вся масса беглых рабов сосредоточилась постепенно вокруг одного и того же твердого ядра. Комиссарам часто приходилось слышать одно имя. Оно произносилось со страхом и надеждой, с отвращением и доверием, со всеми интонациями, с какими произносятся имена людей, к которым так или иначе обращаются все взоры в тяжелые времена. Туссен, ибо так звали этого человека, создал из разрозненных толп негров войско и обучил его в лесах воинскому строю. Негры повиновались ему по первому слову. Они могли бы вместе с французскими солдатами и защищать Республику. Но этот Туссен, как узнали комиссары, сам ненавидел то, что теперь в Париже понимали под словом «свобода». Когда обезглавили короля, он со своими неграми перешел в испанскую часть острова. В семье Михаэля Натана да и во всем городе радовались, что наконец-то удалось отделаться от черного сатаны, вожака страшной банды.

Туссен не питал ненависти к белым, хотя белые люто его ненавидели. Он не презирал и мулатов, тогда как они презирали его. Еще ребенком он понял, как мало говорит о человеке цвет кожи. Многие надсмотрщики-

мулаты свирепствовали еще больше, чем белые. Другие, наоборот, отличались мягким нравом, были добры и остроумны и, в каком бы качестве они ни выступали – в качестве ли деловых людей или отцов семейств, служили как бы связующим звеном между расами, которые их создали: они словно вобрали в себя все лучшее, что было в обеих расах... Его белый господин Антуан, управляющий на ферме Бреда, был умен и добр. Туссен служил у него только кучером, его никогда не посылали на тяжелые работы. Господин Антуан даже разрешил ему учиться. Туссен чувствовал с е б я обязанным не только отцу Жюзье, который научил его читать и писать; он чувствовал себя глубоко обязанным и его учению. Культура белых казалась ему необъятным сияющим дворцом. Отблеск ее озарил его нищие мальчишеские годы и сделал его жизнь богаче. Не следовало пренебрегать этой культурой только потому, что она создана белыми. При более справедливо устроенной жизни все люди должны ею пользоваться. Надо добиться, чтобы ее блеск озарил жизнь всех.

Отец Жюзье рассказывал ему и о том, как Христос принял муки за всех людей. Если многие забывают его пример, это значит, что они плохие христиане. Из трех царей, которые принесли свои дары младенцу Христу, один был черный, как и сам Туссен. Поэтому-то Туссен и ужаснулся, так же как и его прежние белые господа, когда обезглавили короля Франции. Поэтому-то он и перешел к испанцам. Там, как он слышал, еще почитали бога и короля.

Но он очень скоро убедился, что совершил ошибку. Испанцы никогда не сдержат своего обещания дать свободу неграм, а ведь только это и побудило его перейти к ним. Они были вежливы с Туссенем, не скупились на посулы, а за глаза смеялись над ним. Они были заодно с французскими аристократами. Его вера в короля угасла. Однако ошибка была еще поправима. Ночью он форсированным маршем привел своих негров обратно в то же место, откуда они вышли.

– Речь идет о том, – сказал Туссен, – чтобы письменно предложить мои услуги комиссарам, но предложить в такой форме, чтобы понятно было, чего мои услуги стоят. За мной не шайки бандитов, а солдаты, которые надежнее и выносливее, чем босяки из колониальных войск. Я должен сознаться, что ошибся, перейдя к испанцам. Теперь я добровольно предлагаю свои услуги Республике. Я хочу признать свои ошибки таким образом, чтобы Республика правильно оценила добровольность моего решения.

В первые мгновения Михаэль увидел лишь белеющую в темноте повязку, которой была обмотана голова Туссена. Он с трудом, но все же

узнал его. Это был тот самый раб, что с улыбкой отклонил предложение Михаэля брать у него уроки. Глянцевитая чернота лица на тусклой черноте ночи. Они сидели, в хижине, укрывшейся в горной расселине. Огня из предосторожности не зажигали. Туссен ни единым словом не обмолвился о том, почему он выбрал именно Михаэля Натана, и тот также ни единым словом не выразил своего удивления и не потребовал никаких объяснений относительно цели своего прихода, которого Туссен ожидал, точно Михаэль находился в подчинении у него или у какой-то высшей силы, которой они оба были подвластны.

Зажгли свечу, заслонив ее так, чтобы свет падал только на лист бумаги перед Михаэлем. «В мире не так уж много деятельных людей, которые никогда не совершали ошибок...» Туссену потребовалось больше времени, чтобы прочитать письмо, чем Михаэлю – его написать.

События происходили слишком быстро, они не успевали наложить свой отпечаток на лицо Туссена. На нем были написаны терпеливость и хладнокровие, а также то внимание, с каким он обычно смотрел на лошадей, сидя на козлах. Только когда Михаэль повернулся к нему, чтобы задать вопрос, в его глазах вместе с точечками отраженного огонька свечи сверкнули искры того пожара, который в иные минуты охватывал все его существо и лишь потом, изнутри, преображал его черты. Он поменялся местами с Михаэлем. Не без усилий читал он по складам: «Какой же деятельный человек никогда не совершает ошибки?» Свободные и непринужденные фразы письма в его чтении казались топорными и неуклюжими. Когда глаза Михаэля привыкли к темноте, он мало-помалу разглядел, что в хижине полным-полно негров. Их едва можно было различить во мраке ночи, и это придавало им еще больше отваги в их ночных налетах.

– Теперь все в порядке, – сказал Туссен, сделав некоторые добавления и изменения. И, вздыхая, принялся переписывать письмо. Михаэль внимательно перечитал его. Еще была глубокая ночь. Но, когда проснулся день, он наступил словно в одну минуту, почти без утренних сумерек, ворвавшись бурным потоком света. Туссен отпустил Михаэля с холодным достоинством, не поблагодарив его. Он дал ему в провожатые того же негра, который привел Михаэля в горы. Когда они достигли окраины города, солнце уже взошло.

Дома все еще спали. Одна лишь черная служанка была уже на ногах. При его появлении она сверкнула зубами в улыбке и осторожно придержала ногой дверь, чтобы никого не разбудить стуком, словно хотела помочь ему сохранить в тайне ночное свидание.

### III

Письмо, составленное ночью Михаэлем и Туссенем, благополучно попало в руки тех, для кого оно было предназначено. Необходимость заставила комиссаров принять правильное решение. Не найди они поддержки у негров, остров, брошенный всем населением на произвол судьбы, был бы потерян для Франции. Туссен чувствовал теперь, что Республика достаточно сильна, чтобы сдержать свое обещание. Он объяснил своим солдатам и офицерам, что ни малейшая несправедливость не должна запятнать добытой с таким трудом свободы. А то, что они сожгли помещичьи усадьбы, где их триста лет мучили, – это все равно что штурм дюжины Бастилии.

Семьи помещиков бежали при малейшей возможности па любом доступном судне в любой доступный порт. Туссен сам отвез жену своего господина в город, чтобы никто не мог ее обидеть.

Испанцы и англичане думали, что нет ничего легче, как прикарманить бесхозный остров. Но они были разбиты войсками Конвента с помощью негров, которые научились понимать цену свободе. В ходе этой борьбы Туссен становился все более опытным офицером, а его люди – все более опытными солдатами.

Эвремонасы обратили часть своего состояния в банкноты и драгоценности. Свадьба единственной дочери графа теперь уже не могла состояться на Гаити. Вместе с женихом, неким графом Лаветтом, и свадебным убором ее отправили для безопасности на Ямайку, а очутившись на английской земле, жених и невеста при первом же удобном случае уехали в Лондон. Их сопровождали мать и старая Вероника, которая осталась верна семье Эвремонов. Дамы приводили ее в пример как образец неподкупной честности. Старой Веронике, если не считать климата, жилось потом в Лондоне не так уж плохо, как она опасалась. Благодаря предусмотрительности графа отца ее господина были и там не самыми бедными эмигрантами. Поставщики графа Эвремона, Мендес и Натан, которые помогли ему своими советами, особенно Мендес, ехали на средней палубе того же корабля вместе с госпожой Натан и ее младшей дочерью.

Сердце старого Натана разрывалось при прощании с сыном. И всегда-то склонный к мрачным предчувствиям, он сомневался, что им придется еще когда-нибудь свидеться. Отец рисовал себе бесчисленные опасности, которым может подвергнуться сын в Капе. Решение сына остаться на

острове он объяснял советами Мендеса, который с самого начала склонялся к тому, чтобы не ставить все состояние на карту, а сохранить часть имущества на месте под надежным присмотром. Ведь оставляли же многие землевладельцы сына или родственника на своих бесценных плантациях, надеясь предотвратить таким образом худшую из бед; у них даже в мыслях не укладывалось, что их богатство, которое они столетиями отвоевывали у первобытного леса, может быть потеряно навсегда. А Михаэль Натан только радовался тому, что избавлен от необходимости давать объяснения. Он ни в коем случае не последовал бы за семьей. И хотя жил он по сравнению с ними на острове совсем недолго, он уже чувствовал себя здесь коренным жителем.

Никто из семьи не обратил особого внимания на то, что его старшая сестра остается с ним, чтобы, как она говорила, заботиться о нем и вести домашнее хозяйство. Отец плакал, когда целовал, прощаясь, уже немолодое, так похожее на его собственное лицо дочери. Во время путешествия он печально сидел, забившись в угол. Он думал и говорил только о сыне.

Каждую пятницу Мали зажигала в опустевшем доме традиционный субботний семисвечник, хотя брат не придавал этому никакого значения. По ночам она слушала доносящиеся с улицы крики, вопли и топот спешащих мимо людей. Ужин подавала черная служанка Анжела. Она плотно поджимала губы, которые сами собой раскрывались в улыбке. Жизнь в покинутом доме забавляла ее. Молодой хозяин сидит в глубоком раздумье, его сестра растерянно смотрит на него. А снаружи – шлепающие шаги, замешательство и неизвестность, иногда – далекая солдатская песня, выстрелы, не знаешь, кто стреляет и в кого. Анжела надеялась теперь на легкую жизнь, правда, новая госпожа скуповата, однако едва ли можно ожидать от нее много неприятностей. Анжела была уже не молода, но и не настолько стара, чтобы замкнуть кольцо своих любовников, которых она подбирала то по своему вкусу, то по настроению, то по случайности. Один из них был монастырским садовником; она рассчитывала выйти за него замуж. Но он оставил ее с детьми, так и не женившись на ней, а взял себе в жены совсем юную девушку. Младший ребенок Анжелы умер, старший работал на складе в гавани с позволения семейства Натанов, которым он принадлежал, как сын их рабыни. Ее другой любовник, хитрый, веселый негр, по возрасту годился ей в сыновья. Он был в числе тех рабов, которые первыми, не долго думая, сбежали от своих хозяев; свобода, как он ее понимал, сманила его. Старую ведьму – так он называл Анжел у – он сразу же забыл. Во дворе дома Натанов можно было видеть ее маленькую дочь.

Отцом ребенку приходился батрак, время от времени привозивший продукты на рынок. У него были жена и дети, которые вместе с ним надрывались на полях одного и того же хозяина. После того как в дом его господина запустили красного петуха, Анжела не знала, что случилось с ними со всеми. Неуклюжей и нерасторопной Анжеле оставалось только радоваться, что ей приходится работать по домашнему хозяйству, а не в поле, даже если ее господа и относились всего лишь к захудалой «белой мелкоте», хотя евреи Натан и Мендес, вероятно, были побогаче иных владельцев плантаций.

Улицы кишмя кишели бездомными неграми. У них пока что не было ни господ, ни настоящей свободы. Некоторые из них уже начинали выражать свое неудовольствие такой свободой наизнанку. Они помогали поджигать дома, теперь же сами не имели даже крыши над головой. Раньше их поднимали спозаранку и, стоило им чуть замешкаться, избивали, но зато у каждого из них было сухое местечко, где можно поспать часок-другой. Им было что есть и пить – ведь иначе они не могли бы работать. Теперь их никто не заставлял работать, ко им нечего было есть, кроме гнилых фруктов; они грызли сахарный тростник и пили сок кокосовых орехов, потому что их жгла жажда, а воду нельзя было пить – она пахла гнилью, говорили, если кто выпьет, заболит той самой болезнью, от которой каждый день умирали десятки людей. От голода и болезней негров теперь погибало гораздо больше, чем до освобождения. Раньше, в господских имениях, они брали воду из чистых источников. Теперь их можно было видеть на любой городской улице сидящими на земле вдоль низеньких деревянных домишек; почти сплошь женщины (да еще дряхлые старики, которых не взяли в негритянское войско) – вереница головных платков и грудей, к которым присосались младенцы. Иногда проходили патрули, из того самого французского полка, что прибыл вместе с комиссарами. Им было приказано осторожно обходиться с этими странными гражданками, чьи мужья сражались за Республику. Когда какая-нибудь из них громко вздыхала или издавала стон, то ее соседку охватывали два противоположных чувства: из страха перед смертью ей хотелось отодвинуться как можно дальше, если стон переходил в хрипение, и в то же время склониться к больной, помочь или утешить ее.

Издали, со стороны моря, слышался залп. Что там еще опять случилось? Михаэль Натан вышел из дому узнать, кому это помешали высадиться в гавани. Он понимал, что означают эти слоняющиеся без дела негры, эти слухи, эти залпы в порту. Это были последние попытки воспрепятствовать освобождению при помощи оружия, голода, глумления.

Михаэль закрыл за собой входную дверь, не обратив внимания на негритянку, прикорнувшую на ступеньке лестницы. Ничто в ее облике не говорило о том, что она из последних сил дотащилась до этого – и именно до этого – дома. Ведь лишь отсюда мог выйти белый юноша – если только он все еще жил здесь, – которого она однажды ночью привела на окраину города.

Ей было неизвестно, узнал ли он ее тогда. Но она, она уже давно хранила в памяти образ этого чужеземца, молодого, худощавого, молчаливого, то и дело прикусывающего нижнюю губу, с обычно лениво скользящим, но временами прямым и острым взглядом. Во время переезда с Мартиники на Гаити он наверняка не обратил на нее никакого внимания, потому что ни один белый не обращает внимания на черную девушку, затерявшуюся в толпе подобных ей рабынь. И уж тем более не заметил ее при высадке, когда его горячо, обнимал отец, а ее меняла на часы с курантами старая экономка. Он и позже не заметил ее, когда она в толпе домашних рабов встречала гостей в имении графа Эвремона.

Ей нелегко было приблизиться к Михаэлю, когда один из офицеров Туссена поручил ей любой ценой доставить Натана-младшего в условленное место. В конце концов это ей все-таки удалось. Она должна была тут же передать его другому человеку. Она потеряла его из виду. Подчас она думала о нем во временном лагере в горах, когда дождь хлестал по крышам хижин, наскоро сплетенных из ветвей, когда, плотно сбившись в кучу, беглецы дрожали от холода и сырости каждый сам по себе, согреваясь в мечтах теплом потерянного или только воображаемого друга.

И вот он вышел из своего дома, значит, он все еще жил здесь. Она была слишком слаба, чтобы заговорить с ним. Она лишь потянула его за палец, выглядывавший из кармана жилета. Михаэль удивился. Он узнал девушку, хотя ей, видимо, было давно не до забот о своей наружности и выглядела она вовсе не такой уж милостивой, какой показалась ему при первой встрече. Михаэль и вправду забыл ее в ту же ночь, как только ему стала ясна ее роль в необычайном ночном приключении. Он снова открыл дверь и впустил ее. Михаэль спросил:

– Откуда ты?

– Я сперва убежала в лес вместе с моими братьями. Теперь они в армии. А я, будь что будет, вернулась в город.

Анжела была раздосадована появлением гостыи. Она бросила девушке початок кукурузы. «На, луци!» Она никак не могла примириться с тем, что та так бесцеремонно проникла в дом. Девушка работала слишком медленно своими привычными к шитью пальцами. Анжела швырнула ей соломенную

циновку под навес во дворе. Девчонка пусть не воображает, что сможет так просто поселиться в комнате молодого хозяина. Марго стерпела и это, хотя молодой хозяин, как только приходил домой, звал свою гостью в комнату. А когда Михаэль уходил, Марго возвращалась во двор, молча свертывала неиспользованную циновку и ставила ее в угол, который предназначила для нее Анжела. Она никогда не жаловалась на работу, которая становилась все тяжелее и тяжелее. Михаэль никогда не спрашивал, как она ладит с остальными домочадцами в его отсутствие. Достаточно того, что она бесшумно проскальзывала в дверь, к нему в комнату, снова прелестная в своем свежезалатанном ситцевом платье, в новом платке с каймой. Она чинила платья его сестры, а иногда и Анжелы, которая, однако, не становилась от этого добрее.

Сестра терпеливо сносила причуды брата. Она снесла бы и худшее. Она только тихонько грустила: брат больше не открывал ей свое сердце, как раньше. А ведь это ради него осталась она на Гаити. За ним она пошла бы даже в ад. Но с этой чужеземкой брата связывало нечто такое, до чего никому больше нет дела. Между ними было что-то, что не имело ничего общего с теми мыслями, которыми он раньше делился с ней, а она глядела на него, готовая бесконечно его слушать. Ее сердце сжималось, когда она видела их вместе, он разговаривал с девушкой так же, как с ней самой, когда они оставались вдвоем, но ему казалось, что он один. Теперь ему уже не казалось, что он один, хотя мга девушка умела молчать так же, как до сих пор умела только сестра. Эта девушка слушала его по-другому и смотрела на него тоже по-другому. Будто оба видели перед собой одно и то же. Когда они собирались все вместе, Мали только молча смотрела на брата, о чем бы он ни говорил. А черная девушка осмеливалась даже отвечать ему. И ему правилось то, о чем она говорила. Его взгляд светлел, пока звучали ее слова. Потом оба умолкали, как будто задумывались об одном и том же.

Марго по-прежнему день-деньской беспрекословно выполняла самую тяжелую работу. Она работала даже ночью, если ее друг возвращался поздно. Чем более гневно отдавались приказания, тем безропотнее она повиновалась, словно считала бессмысленным нарушать покой в доме. Мали сперва не удостаивала ее своим вниманием. Но по мере того, как ревность все больше и больше ожесточала ее, она стала изводить девушку бесчисленными приказаниями. Марго не перечила ей. Она не жаловалась и Михаэлю. Как ни старалась Мали, она не могла добиться от псе и слова упрека. Время между уходом и приходом Михаэля как будто вовсе не существовало для девушки.



Становилось легче, когда он рассказывал о том, что происходит вокруг. Туссен сдержал свое слово. Гаити остался под трехцветным флагом Республики. Здесь, на острове, его багрянец пылал еще краснее, его синева стала еще синее, его белизна сверкала еще белее. Без Туссена комиссары не могли бы держать в страхе врагов Республики. Он повсюду вводил в бой свои войска, молниеносно перебрасывая их с одного места – на другое, согласно своим замыслам, которые то и дело рождались в его внезапно проснувшемся уме, словно его молодая сила и не думала убавляться, сколько бы он ее ни расходовал, сколько бы разочарований и сомнений он ни испытал. Революция в Париже находила нужного ей человека на каждом этапе. Здесь, на Гаити, это был один и тот же человек на протяжении всех этапов. Революция меняла своих комиссаров. Туссен умел ладить с каждым. Он пережил и якобинскую диктатуру, и падение Робеспьера, и переворот Наполеона.

Молва о нем на острове некоторое время была разноречива и двойственна, словно этот человек воплотил в себе черты различных людей и о каждом из них шла своя особая слава. Даже негры не всегда радовались его триумфу.

Они и сами порой сомневались, все ли тут ладно. Они привыкли видеть себя рабами, с которыми обращались хорошо или плохо, а блеск и могущество считали привилегией белых. Даже в маленьком доме Михаэля разноречивая молва об этом человеке вызвала немало толков.

– А все же говорят, он кровожаден, он будто бы все жжет и убивает. Ведь какую резню он устроил, когда подавлял восстание мулатов, – не то чтобы утвердительно, а скорее вопрошая сказала Мали.

– Не может он сразу поспеть во всем, – ответил Михаэль. – Он должен был победить их, и вот они побеждены. Теперь он покажет; как он представляет себе свою республику.

Он догадывался, через кого доходят до сестры эти толки. Последним возлюбленным Анжелы был официант, мулат. Тот возлагал все свои надежды на ярого врага Туссена, вождя мулатов Риго.

Город ожидал вступления Туссена. Толстуха Анжела выходила на улицу посмотреть на гирлянды и знамена. Она насмешничала и ехидно острела в тех самых выражениях, которые слышала от своего возлюбленного. Михаэль послал Марго на один из уличных рынков, которые пережили войну и даже пожары. Эти рынки, как живучий бурьян, вырастали на все тех же перекрестках – со своими шаткими лавчонками, своими нехитрыми циновками, ананасами и манго и глиняными горшками. Михаэль дал ей денег, и она купила для себя и для двух других женщин –

черной и белой – всевозможных материй на платье и лент под цвет. Она заботливо кроила и шила всю ночь, словно обе женщины также заботливо относились к ней. Когда утром все трое влились в толпу, встречающую Туссена, на них были нарядные новые платья. Никто толком не знал, поедет ли Туссен вообще по той улице, на которой они стояли, зажатые в толпе. Звон колоколов возвестил о том, что Туссен вошел в собор. Казалось, будто в небе прошелестели крылья черных и белых ратей.

Внезапно колокольный звон стих, а с ним и вся улица. Даже Анжела проглотила свои ехидные намеки. Хотя здесь, на улице, ничего не было слышно, в толпе знали, что происходит сейчас в соборе. Белые чиновники выражают негритянскому генералу свою признательность за то, что он принес наконец мир. Затем последует торжественное богослужение с хором. Еще раз прозвонили колокола. Стихший было шум людских голосов снова поднялся в переулках. Потом смолк. В толпе прошелестело; «Едет». Он ездил по городу из конца в конец, и, еще прежде чем он успевал приблизиться, в толпе раздавалось: «Едет!» Он сидел на добром холеном коне с богатой сбруей, что подобало только дворянину. Голова его, по негритянскому обычаю, была повязана платком. На груди сверкали французские ордена. Лицо было такое же, как всегда. Пожалуй, на нем еще сильнее, чем когда-либо, проступало его обычное выражение.

Он сурово смотрел по сторонам. Никто не ускользал от его взгляда. Каждый знал, что он не остался незамеченным. Он видел и новое платье, которое Марго сшила ночью. Он видел и новые платья на Мали и Анжеле, так что не напрасно трудилась над ними Марго этой ночью. Он видел и Михаэля, оберегавшего трех женщин.

Вскоре выяснилось, как хорошо рассчитали те господа, которые, несмотря на все предостережения, оставили на Гаити управляющего или даже сына, в то время как сами они с женами и дочерьми эмигрировали в Лондон. Их основное правило – ставить одновременно на несколько карт – оправдало себя. Если их доверенному удавалось спастись от первого взрыва ярости, которым сопровождается столь внезапное освобождение, он мог вскоре без опаски выползти из своей норы. Туссен, несомненно, был теперь хозяином положения. Однако он был достаточно умен, чтобы понимать, что негры, которые пришли к власти благодаря счастливому случаю, отваге и умелому использованию своего положения на отдаленном острове, не могли долго продержаться без помощи белых. Туссен понимал также, чем он им обязан. Их культуре, насчитывающей несколько тысячелетий, их тысячелетнему опыту. Если белые христиане, став рабовладельцами, изменили своей вере, то ныне ему, черному христианину,

предстояло лучше их выполнить заветы христианства. И вот помещики снова возвращались на свои фермы, хотя и должны были платить высокие налоги. Негры были свободны. Правда, закон обязывал их снова взяться за работу в качестве поденщиков. Они получали теперь установленную плату за почасовую работу. Между тем они уже привыкли к другой жизни, принуждение раздражало их так же, как налоги – господ. Но мало-помалу гнев улегся, сахарные и кофейные плантации снова стали приносить доход. Жизнь текла сперва вяло, а потом забурлила еще сильнее, чем раньше, – с торговлей и морским фрахтом, со встречами кораблей в порту, с балами и вновь открывающимися торговыми фирмами. Каждый получал работу, каждый был нужен, при найме не считались ни с цветом кожи, ни с происхождением.

Господа обновляли свои дома, платья и экипажи. Правда, никто больше не маячил немой тенью на козлах их карет или за спинками стульев, они не смели больше связывать и бичевать негритянских девушек. Но они привыкли и к этому. И у них бывали свои светлые дни. В лавках становилось все больше товаров. Пришло время снова обставляться.

К Михаэлю явился сын одного из прежних клиентов. Он пришел за своей драгоценностью, которую в свое время сдал Натану и Мендесу на хранение. Он тут же получил ее обратно. Михаэль писал своим, что благополучно пережил это время; на острове мир и порядок, дело мало-помалу оживает. Отец радовался, получив в Лондоне весточку от сына. Старый Мендес не раз хвастливо напоминал Натану, что это он советовал оставить мальчика на острове.

Однажды утром к Михаэлю пришел связной офицер-негр и пригласил его во дворец губернатора. От изъядов, причиненных дворцу войной, не осталось и следа. Портьеры, абажуры и ковры почищены или заменены новыми. Латунная отделка перил и мебели отполирована до блеска. Михаэлю приходилось часто слышать насмешки по поводу шелковых шпалер в приемной чернокожего главы правительства и ливрей слуг. Со временем остряки успокоились, словно им надоело ждать, пока мебель, шпалеры и ливреи обидятся на них.

Ничто в выражении лица Туссена не говорило о том, что гость ему знаком, ни словом не намекнул он на их тайную встречу. У ювелира, сказал он, есть коллекция драгоценных камней, оправленных и неоправленных, которые ему хотелось бы посмотреть. Весь его облик и манера держать себя всегда точно соответствовали обстановке, в которой он находился. Сегодня это дворец губернатора, вчера это был девственный лес.

Он посетил домик Михаэля. По его вопросам и пожеланиям Михаэль

понял, что Туссену очень нравятся драгоценные камни. Может быть, эта страсть родилась в нем уже тогда, когда он еще работал кучером у своего господина.

Он не обращал внимания на трех женщин, которые ему прислуживали. И все-таки Михаэль был убежден, что ни одна мелочь не ускользнула от его взгляда. Просто он хранил в себе каждое впечатление, как сокровище, которое в данную минуту не представляет цены. Образ Михаэля запечатлелся в его памяти, еще когда Туссен был рабом, и хранился среди других бесполезных впечатлений до тех пор, пока ему не понадобился этот человек.

Лишь раз, при одном из своих позднейших посещений, Туссен спросил, что же случилось с обоими стариками. Молодой Натан сказал, что они бежали в Англию. Перед каждым приходом Туссена Анжела тщательно прибирала в комнатах. Ока чистила ковры, доставала лучшие рюмки, заранее ставила на стол ликеры и изысканные блюда. Она уже не повторяла за своим возлюбленным, что беглый раб осмеливается играть роль господина. Более того, она пришла к убеждению, что Туссен и в самом деле господин, а не только играет эту роль. Она укрепила в этом мнении еще и потому, что он держал себя уверенно и учтиво, соблюдая необходимую дистанцию между собой и ею, толстой, черной Анжелой, а из всех закусок выбирал именно те, которые готовились только для самых высокопоставленных гостей. Михаэль охотно занялся бы каким-нибудь другим делом, вместо того чтобы показывать клиентам бриллианты. – Но все же при посещениях Туссена он получал от своей профессии большее удовлетворение, чем обычно. Туссен не уставал спрашивать его о названиях, запахах и месторождениях драгоценных камней. Теперь, когда он мог позволить себе выбирать, его обуяла страсть всех истых коллекционеров: он облюбовывал себе какой-нибудь один определенный камень, и именно в этой и ни в какой другой оправе. Страстность была присуща всем его начинаниям, будь то игра или самое серьезное в жизни. И эта игра с камнями, тонко вспыхивавшими красноватым или зеленоватым светом, всегдашняя забава господ, как и многие игры, что веселили и подкрепляли их, веселила и поддерживала Туссена в его новой жизни. Он уходил довольным и отдохнувшим из комнаты, где происходила эта игра.

Натан-отец писал из Лондона, как он рад тому, что его фирма имеет свое отделение в Капе. Кто бы мог думать об этом, когда они расставались? В то время все летело вверх тормашками. Кто бы мог ожидать подобного от кучера господина Антуана?

Михаэль купил небольшой загородный дом. Марго родила там дочь.

Анжела не чувствовала больше ненависти к ней. Молодой Натан не был уже для нее избалованным господским сынком со всякими фантазиями и увлечениями; он взрослый человек и поставил на верную карту. Да и Марго знала, что делает: ведь она любовница господина, который поставил на верную карту. Это твердые факты, с которыми приходится считаться. Марго не помнила зла. Она нередко посылала за Анжелой экипаж. Та приезжала поболтать и полюбоваться на ребенка, такого же хорошенького, как его мать. Иногда ей перепало кое-что из тюков материи, которые Михаэль каждую неделю притаскивал домой. Когда в магазинах или на рынках он в странной задумчивости выбирал материи самых пестрых расцветок и рисунков – ситцы с цветами и птицами, в горошинку и с кружочками, шелка, нежно-серые, в зеленую и розовую искорку или золотисто-коричневые – и набирал полные руки кружев, тут проявлялось все богатство воображения и прихотливость природы Михаэля, обычно сдержанного и даже несколько чопорного. Обе женщины, толстуха и молодая, придумывали себе фасоны платьев. Молодая шила для своей дочери такие же платья, как для себя, словно девочка приходилась ей не дочерью, а младшей сестрой. Михаэль улыбался, видя это. Когда он надевал на палец Марго кольцо с изумрудом, у него всегда находилось колечко с капельным изумрудиком и для малышки. Он улыбался, когда и самое маленькое колечко оказывалось велико для крошечного пальчика.

Охотнее всего он приносил Марго золотисто-коричневую материю точно такого же цвета, как цвет кожи их маленькой дочки.

## IV

«Расы плавятся у него в руках, как воск». Так докладывал о Туссене комиссар в Париже. Между тем Бонапарт стал консулом. Туссен составил собственную конституцию. Он только для проформы, задним числом ходатайствовал перед консулом о ее утверждении. Бонапарт, совершив переворот, по мере надобности выискивал среди законов подавленной революции те, что казались ему полезными. Если они мешали его честолюбивым помыслам о военном могуществе, он их попросту отбрасывал. Он уже давно при каждом удобном случае давал понять, что не потерпит эполет на плечах у негров. А этот негр, далеко на западе, постепенно вырастает в маленького чернокожего главу государства. Туссен для своей конституции тоже извлек из опыта революции то, что казалось ему полезным. Для него это был ее основной закон: свобода и равенство.

Бонапарт ответил Туссену не утверждением конституции, а отправкой на остров военных кораблей. Он послал на Гаити значительные военные силы, такие же большие, как позднее в Испанию, во главе с опытными офицерами, чтобы решительно покончить с тенью, которая не сидела на кучерских козлах и не стояла за спинкой стула, а была тенью, стоявшей за его тронem.

Туссен вместе со своими друзьями смотрел с горы, как суда одно за другим вырастали на горизонте. Чем больше выросло судов, тем более неминуемой становилась его гибель. Внезапно он понял, что даже самые лучшие идеи недолговечны, если они не подкреплены силой.

Михаэль с женой взбирались на гору. Марго связала туфли шнурком и повесила их через плечо, чтобы легче было идти. Негры бросали мрачные взгляды на Михаэля, единственного чужака в толпе, наблюдавшей за приближением кораблей. Они с пристрастием искали на его продолговатом серьезном лице следы злорадства, но не находили ничего, кроме той же растерянности и той же ненависти, что испытывали сами.

Когда они ночью пришли домой, платье Марго было изодрано в клочья. На следующий день Михаэль чуть свет направился в город, привести в порядок домашние дела. Он спрятал товар в безопасном месте. К нему за советом явился молодой дворянин, тот самый, который с приходом к власти Туссена потребовал обратно свои драгоценности. Уезжая, дядя оставил его на кофейной плантации в надежде, что племянник сохранит ему хотя бы часть состояния. Расчет оказался верным: придя к

власти, Туссен только в редких случаях, соблюдая меру, с большой осторожностью вмешивался в имущественные дела белых, после того как рабство было окончательно уничтожено. Молодой человек сказал Михаэлю:

– Какое счастье, господин Натан, наконец-то нас вызволят из этого ведьмина котла!

Михаэль отослал обеих женщин, Анжелу и сестру, за юрод к Марго. Сам он покамест остался в городском доме. На корабле Бонапарта ждали более приятной встречи. Там полагали, что при высадке будет достаточно нескольких пушек, чтобы расчистить место для праздника с музыкой и танцами в честь освобождения. Сестра консула Бонапарта, жена главнокомандующего, привезла с собой достаточно туалетов для подобного торжества. Вместо этого пушки получили такой ответ, что пришлось ей вместе со своими туалетами расположиться на ночлег в солдатской палатке вдали от горящего города. Некоторые чиновники и офицеры-негры бросали факелы в свои собственные дома. «И что этим чертям взбрело в голову под самый конец», – сказал молодой дворянин, когда опять случайно встретился с Михаэлем.

Михаэль собирался к женщинам за город. Его городской дом стоял еще цел и невредим. Однако давно уже пора было уходить. Всякая надежда на перемену была бессмысленна. Он лишь рисковал быть принятым за одного из этих белых, которые буйно приветствовали французские войска как освободителей, когда солдаты осмелились наконец войти в горящие улицы. Перепуганные негритянки выхватывали детей из-под лошадиных копыт и шпор офицеров. Цветущий город погибал в дыму и пепле. В этом году сезон дождей начался раньше, чем обычно. И дождь в конце концов потушил пожар. Он превратил развалины в черное месиво. Все были напуганы вестью о внезапной вспышке желтой лихорадки среди армии и населения.

Когда Михаэль вышел, у дома его поджидала незнакомая безобразно толстая негритянка. Ему вдруг показалось, что он только и ждал ее прихода и, возможно, поэтому, несмотря ни на что, оставался в городе. Он должен тотчас же следовать за ней. Михаэль не раз безуспешно пытался узнать, где именно в горах находится лагерь Туссена, он оставил поклажу дома и пошел за негритянкой. Сначала идти было безопасно. из-за всеобщей сумятицы. Потом толстая негритянки изумительно ловко провела его через сторожевые цепи, расставленные по вновь бесхозным плантациям. Только на вторую ночь они– достигли лагеря Туссена. Михаэль слишком устал, чтобы думать о том, что, придя в это горное ущелье, он, возможно,

никогда больше не увидит свою любимую и свою дочь. Туссен был одет в добротный мундир, на пальцах – перстни. Парика на нем не было. Лицо казалось более живым по сравнению с тем, каким Михаэль знал его в былые – хорошие и плохие – времена. Оно выражало какое-то беспокойство и беспричинно подергивалось. И сегодня, как и в ту ночь, при скудном пламени свечи сверкали белки глаз и металл на изодранных мундирах, пряжках поясов и на саблях, а также на двух кривых мачете. Кругом много, но невесело смеялись. Туссен, который редко смеялся раньше, раздражался время от времени отрывистым смехом; остальные пытались подхватить, но лишь скалили в улыбке зубы.

Туссен встретил Михаэля весело, совсем как старого товарища. Его окружающие тоже приветствовали Михаэля. Они хлопали его по плечу, тянули за уши, трепали за волосы. Михаэль оставался сдержанным. Его лицо сохраняло свое обычное выражение. Постепенно лица вокруг него помрачнели. Прошло некоторое время, и бурная радость встречи, беззаботная, как на пирушке, совсем угасла.

– Пишите, что я вам продиктую, – сказал Туссен.

Лицо его снова приобрело то прежнее, знакомое Михаэлю выражение – задумчивое, спокойное и немного угрюмое. Только у рта и в уголках глаз залегли морщинки – следы глубоких раздумий; они, словно гербовый знак, отличали собою этого человека. Михаэль вдруг заметил, что, когда Туссен думает, нижняя губа у него отвисает, как у него самого. Туссен неподвижно смотрел перед собой. Внезапно он сделал привычное повелительное – движение. Михаэль принялся писать. Туссен неотрывно смотрел туда, где перо соприкасалось с бумагой. Из его глаз, как из бездны скорби, струилась такая печаль, словно он только сейчас окончательно измерил расстояние между пределом достижимого на земле и беспредельностью мысли. Офицеры жались по углам хижины. Их болтовня, показавшаяся случайно вошедшему чужеземцу неуместной и не в меру веселой, замолкала, как только начинал говорить Туссен. Гром пушек и выстрелы, доносившиеся снаружи, были привычны, на них не обращали внимания. Михаэль написал сначала несколько фраз, адресованных командующему французскими десантными войсками. Туссен давно научился сочинять такие письма. У него были на службе и белые и черные секретари. Михаэль призадумался над одним оборотом речи, взял второй лист и записал все предложения Туссена по порядку, а потом попросил разрешения, пока письмо не закончено, высказать свое собственное мнение. Предложения Туссена казались Михаэлю бессмысленными ввиду превосходства сил французов; они хотят полного разгрома негров и в конце концов своего добьются.



Уважение, которое Туссен явно питал к этому белому, удерживало его друзей от действий более грубых, чем ропот, гневные выкрики и полуугрозы. Михаэль понимал, что эти люди не могли оценить положение в таком же свете, как он. Он понимал также, что расстояние между достижимым на земле и беспредельностью мысли, о котором только что думал Туссен, для них на многие века короче, чем для него самого. В течение ночи они согласовали текст письма. Туссен спрашивал у друзей их мнение. Они яростно возражали против предложений Михаэля и, недовольные, отступали, когда Туссен голосом на нотку построже начинал окончательную диктовку.

Михаэля отвели в приготовленную для него хижину. После нескольких часов сна его снова вызвали, чтобы написать несколько писем официальным лицам тех стран, с которыми Туссен поддерживал отношения в последние годы. Один из друзей Туссена, Анри, по прозвищу Тентен, не скрывал своего недоверия к единственному белому в их лагере. Туссен не останавливал его. Михаэль же не требовал от него объяснений. Анри был лихим офицером, прославившимся своей жестокостью еще при походе в испанскую часть острова. После высадки войск Бонапарта он первым показал пример товарищам, бросив горящий факел в свой собственный дом.

Солдаты любили Анри. Он часто бывал в бараках для больных, хотя приходил обычно лишь тогда, когда кто-нибудь лежал при смерти. Все же негры гораздо меньше страдали от желтой лихорадки, косившей армию Бонапарта. Когда Анри рассказывал об этом, он смеялся и пускался в пляс, грозил всем белым и насмехался над Михаэлем. Тот хранил молчание; он понимал, что Туссен не одобряет поведения Анри, но любит его, может быть, даже больше, чем других. Если Михаэль и обижался на Туссена, то прежде всего за то, что он всегда будет любить Анри больше, чем его.

Михаэль жил в горах уже несколько дней, а может быть, недель. Время, казалось, потеряло свое реальное значение, точно у негров. Оно стало безбрежным, невесомым, зыбким, как сыпучий песок. Туссен вдруг дал согласие встретиться с французскими офицерами. Он не желал слушать никаких предостережений. Он положился на обещанную неприкосновенность, словно хотел высмеять перед друзьями свое собственное, вполне обоснованное недоверие к французам. Он словно не верил тому, что французы доказывали уже не раз: обещание, данное неграм, для них ничего не значит. Туссена тотчас же схватили и увезли.

Вечером, когда друзья тщетно ожидали его в хижине, Анри в припадке бешенства бросился на Михаэля, как будто он был виноват в несчастье.

Михаэль настойчиво предостерегал Туссена против встречи, он категорически отказался составить письмо по этому поводу.

Товарищи схватили Анри за руки, он топал ногами, мотал головой и так орал, что негры толпой сбежались к двери. Среди прочих злобных выкриков раздавались: «Проклятый белый еврей!» Михаэль молчал, пока Анри не обессилел от бешенства. В один из следующих дней, полных отчаяния и растерянности, Анри сам пришел к Михаэлю. Он сказал:

– Я не люблю тебя, но ты не виноват в несчастье. Я понимаю это. – Михаэль промолчал.

Военачальники-негры назначили военный совет, так как никто из них не мог считаться единственным преемником Туссена. Он один за несколько лет преодолел многие ступени развития; приблизиться к нему могли бы их потомки, и на это потребовались бы столетия. Острее, чем когда-либо, чувствовали они, что Туссен совмещал в себе такие качества, какие встречаются обычно только порознь в отдельных редких людях. Д а ж е тогда эти качества можно увидеть лишь в зачаточном состоянии, а не в полном развитии. Туссен, закованный в кандалы, был теперь на военном корабле на пути во Францию. Его арест едва ли представлял военную выгоду для Бонапарта. Французская армия была истощена и искрошена, а там, где она все-таки собирала силы для удара, она несла потери не столько от смелых вылазок негров, сколько от желтой лихорадки. Лихорадка обрушилась на нее так, словно сама земля острова, объединившись с водой и воздухом, вступила в упорную партизанскую войну.

Настал день, когда Михаэль отправился в город. Его пребывание в лагере стало излишним. В таких, как он, там не было больше необходимости. После каждой атаки французов негры рассеивались по тропическому лесу. Весь остров судорожно вздрагивал от отдельных стычек, от непредвиденных нападений, от неожиданных выстрелов в высших французских офицеров. Ответом на это были резня, уничтожение негритянских деревень, расстрелы, пожары, виселицы, травля собаками.

После долгих странствий по окольным дорогам Михаэль пришел наконец в предместье, города. Кап, слава о котором в блестящую пору его расцвета достигла самой Европы и, беззаботно веселая, еще раз блеснула во время короткого правления Туссена, стал грудой развалин. Ни рынков, ни лавок больше не было. Лишь несколько жалких негров боязливо торговали мятыми фруктами. Михаэль нисколько бы не испугался, если б мало что нашел на месте своего загородного дома. Его скорбь была так велика, что он почти не испытывал страха. Страх был всего лишь еще одним камнем, давившим на сердце. В лагере Туссена он забыл о Марго, и

было вполне естественно, что представление о ней улетучилось? как улетучиваются приятные, но все же мучительные сновидения, от которых иной раз болезненно сжимается сердце. Среди выжженных или пришедших в запустение плантаций перед ним лежал его сад, одичавший бед ухода, но не опустошенный. Только недавно кончилась пора дождей. Никем не укрощенные цветы буйно разрослись между корнями деревьев и кустарников, между каменными плитами и кирпичами. Они пламенели и синели, такие одичалые, что, казалось, дай им волю, и они вырастут в пестрых сказочных зверей. Дом выглядел нежилым. Стук колотушки в дверь вызвал многократное эхо, которое как будто насмехалось над робким ожиданием Михаэля. словно для того, чтобы усилить эту насмешку, молчание перешло в боязливое шарканье. Михаэль громко назвал свое имя. Сестра открыла ему. Ее лицо еще больше пожелтело, еще больше походило на сушеную грушу. Ее глаза не засветились, как прежде, они сначала уставились на Михаэля, а потом наполнились слезами. Она рассказала Михаэлю, что Марго и ее дочь несколько недель назад умерли от лихорадки, как умирали почти все, кого пощадила война. Анжела боялась заразиться и, как только они заболели, ушла в город. Ее друг устроился работать в единственный открытый в гавани трактир. Она, Мали, осталась одна с больными. Она сделала все, что было возможно. Она, не жалея своих сил, ухаживала за ними и, сидя ночью у их постелей, все время думала: «Что я должна еще сделать для них, чего мог бы пожелать мой брат?»

Михаэль молчал. Он только один раз протянул руку, чтобы погладить ее по голове. Потом молча бродил по пустому дому. Он нигде не находил следов своей возлюбленной. Все было насквозь прокурено из страха перед заразой. Все платья и даже занавески сожгли. В душе Михаэля не было даже большого горя, а только безграничная пустота. Мали вдруг услышала, как он засмеялся. Михаэль нашел в щели, между половицами, пуговицу от платья жены или ребенка. Вечером они молча сидели вместе, брат и сестра, оба с отвисшей нижней губой, больше чем когда-либо, похожие друг на друга и на отца.

Михаэль пошел в город посмотреть, что осталось от их дома. Вся улица представляла сплошное пожарище. Однако перед уходом в горы он перенес несколько драгоценных вещей во дворец губернатора. Новые французские власти сразу же разрешили ему взять свои ценности. Его знали в городе только как сына Натана из фирмы «Натан и Мендес».

Он встретил молодого дворянина, с которым случайно столкнулся, когда в последний раз был в городе. С его помощью Михаэль отослал

письма и выправил проездные бумаги на корабль для себя и Мали.

Отец плакал от радости, обнимая сына на набережной. Михаэль нашел, что он мало изменился. Дед Мендес, который всегда выглядел бодрее, чем его зять, весь как-то высох, стал плохо слышать. Мать следила за собой так же тщательно, как и раньше, в прическе ее стало еще больше локонов, а на платье – еще больше складок и сборок. Красота ее окончательно поблекла. Зато маленькая Мирьям стала теперь ослепительной, прямо-таки неотразимой в глазах мужчин молодой женщиной. Даже по отношению к брату она держалась с насмешливой снисходительностью, словно заранее знала, что он растеряется, увидев ее; впрочем, к этому примешивалась некоторая доля жалости, ведь он остался таким же невзрачным и угрюмым, как и раньше. Она уже была замужем за коммерсантом, молодым ловким евреем из Парижа, который разъезжал по европейским столицам с поручением от фирмы «Натан и Мендес», куда он недавно вступил компаньоном.

Вскоре после приезда Михаэля в Лондон отец дал понять, что сыну не мешало бы жениться. Сам старый Натан был озадачен, когда тот сразу же согласился. Нельзя сказать, чтобы Михаэлю особенно нравилась выбранная отцом девушка, и вовсе не ради одолжения старику отцу согласился он. Просто все это было ему совершенно безразлично.

По сравнению с прожитыми годами то, что ожидало его сейчас, не имело никакого значения. Его душа была опалена и теперь превратилась в дым и пепел, как и Кап. Не все ли равно, с какой женщиной он разделит ложе, ибо нет и не будет больше той, которую он любил. Проще всего сделать своей женой эту спокойную, ласковую, чистую девушку, на которой остановил свой выбор отец.

Быть может, он еще и встретился бы с людьми, которые вырвали бы его из состояния тупого безразличия; быть может, под пеплом его души могло бы еще раз вспыхнуть пламя. Но он стал быстро чахнуть. Он все больше уходил в себя. Он все еще ловил вести, иногда приходившие с Гаити. Они были похожи одна на другую и вместе с тем волновали его. Война с черными партизанами продолжалась, не принося карателям особого успеха. Остров пришел в совершенный упадок. Нечего было и думать о богатых плантациях, о процветающей торговле. Если когда-либо у иных людей и возникала мечта о том, что Гаити может стать точкой опоры государственному деятелю, будь то Гуссен или Наполеон, при осуществлении реальных или предположительных планов завоевания мирового господства, то эти мечты рассыпались в прах вместе с блеском и богатством острова. Наполеон по-прежнему держал мир в тревоге, но

планы его изменились Так не лучше ли предоставить самому себе и без того погибший остров, чем растрачивать там свои силы. Благо даря этому Гаити остался независимым, хотя и не таким, каким мечтал увидеть его Туссен, – свободным и сильным среди свободных и сильных республик того времени. Остров обнищал, из него вытянули все соки, он попал в экономическую зависимость от богатых стран мира. И все же он остался негритянским государством.

Старому Натану, который во время разлуки так трепетал за своего единственного сына, пришлось в Лондоне пережить его смерть. Двое внучат были его отрадой и утешением. Мали заботилась о них и когда они были здоровы, и когда хворали, так же как в свое время на Гаити она из любви к брату заботилась о золотисто-смуглой дочери умершей Марго.

Михаэль Натан, очевидно, ничего больше не узнал о дальнейшей судьбе Туссена. Туссен умер примерно в то же самое время мучительной смертью в крепости, куда был заточен Наполеоном. Эти две смерти наводят на мысль о деревьях, которыми некогда были обсажены большие дороги Европы: когда эти деревья заболели, то заболели все вместе и все вместе погибли. Смерть Туссена и Михаэля Натана, наступившая одновременно в разных концах Европы, покажется менее загадочной, если погнись о том, что они взошли от одного и того же посева.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://Royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)